А. И. МЕНДЕЛЕЕВА

МЕНДЕЛЕЕВ В ЖИЗНИ



А. И. МЕНДЕЛЕЕВА

МЕНДЕЛЕЕВ В ЖИЗНИ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ И ПРИМЕЧАНИЯ
М. ЦЯВЛОВСКОГО

ИЗДАНИЕ М. и С. САБАШНИКОВЫХ
1928

ЗАПИСИ ПРОШЛОГО

ВОСПОМИНАНИЯ И ПИСЬМА

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

С. В. БАХРУШИНА и М. А. ЦЯВЛОВСКОГО

Отпечатано
в 7-й типографии
„ИСКРА РЕВОЛЮЦИИ“
Мосполиграфа.
Москва, Арбат, Филипповск., 13.
Тираж 3.000 экз.
Главлит № 99.670.

Автор печатаемых воспоминаний — вдова Дмитрия Ивановича Менделеева.

Отец ее, донской казак Иван Евстафьевич Попов (1827 — 1883), по окончании средней школы в Воронеже, намеревался поступить на медицинский факультет Московского университета, но мечтам его не суждено было сбыться, и он принужден был поступить на военную службу, которую и провел в течение девяти лет на Кавказе, где в 1855 г. женился на Анне Логгиновне рожд. Ефремовой (1830—1898), дочери русского инженера и шведки с Аландских островов, и где у них в 1858 г. родилась дочь Мария, а 27 февраля 1860 г.— Анна.

Выйдя в отставку, Иван Евстафьевич поселился с женой и дочерьми в Урюпинской станице Хоперского округа.

Скромная, безмятежная жизнь в родной семье, летом поездки по степи в другие станицы к родственникам — таковы воспоминания раннего детства Анны Ивановны. Отец, типичный провинциальный культуртрегер, сам только мечтавший о высшем образовании, решил определить дочерей в столичное учебное заведение, для чего вся семья весной 1868 г. переезжает в Москву. Осенью этого года Анна Ивановна вместе с сестрой поступила в 7-й (т.-е. самый младший) класс первой женской гимназии, где и пробыла до 1873 г., когда перешла во второй класс третьей гимназии, начальницей которой была родственница Л. Толстого кж. Елена Сергеевна Горчакова, оставившая по себе у Анны Ивановны самые лучшие воспоминания. Отец, устроив семью в Москве, продолжал жить в станице, лишь наезжая к своим на короткое время. Последний 1874—1875 учебный год Анна Ивановна с сестрой прожили и без матери, уехавшей к мужу, в пансионе Бауер.

К этому времени относятся первые занятия Анны Ивановны рисованием. Поступив в воскресные классы рисования при Строгановском училище, она взяла здесь 8—10 уроков, и, хотя немного получила от них, любовь к этому искусству была заложена на всю жизнь.

Лето 1875 года, как и все предшествующие, было проведено в родной станице, а осенью Иван Евстафьевич повез младшую дочь в Петербург. Решено было, что Анна Ивановна, выказывавшая музыкальные способности, поступит в консерваторию. Так и случилось. Выдержав приемный экзамен, Анна Ивановна была принята в консерваторию по классу фортепьяно. Поселилась она вместе с Александрой Владимировной Синегуб, с которой познакомилась на консерваторском экзамене и с которой впоследствии была очень дружна, у генерала в отставке инженера А. К. Эрдберга, бывшего главой петербургских последователей Ирвинга, и даже присутствовала на их богослужениях. В консерватории Анна Ивановна пробыла недолго и после Рождества оставила ее. Успешнее шли занятия рисованием. Анна Ивановна поступила в школу рисования на Васильевском острове и, кроме этого, ходила рисовать в скульптурный музей Академии Художеств, где познакомилась с Надеждой Яковлевной Капустиной, а затем и с ее матерью Екатериной Ивановной, рожденной Менделеевой, сестрой знаменитого уже в то время ученого. Знакомству этому суждено было сыграть решающую роль в жизни Анны Ивановны.

Ранней весной 1876 г. по настоянию Н. Я. Капустиной Анна Ивановна держит экзамен в Академию Художеств, по сдаче которого уезжает на лето к родителям. С семьей Капустиных Анна Ивановна к этому времени уже вполне сблизилась, и было решено, что осенью, по возвращении в Петербург, она поселится у них.

Прогостив две недели в Новочеркасске, у сестры, вышедшей замуж за Семена Васильевича Сафонова, Анна Ивановна остальную часть лета прожила у родителей. Здесь получила она от врача, проживавшего в Новочеркасске, Владимира Платоновича Рубашкина письменное предложение вступить в брак. На это совершенно для нее неожиданное предложение Анна Ивановна ответила полуотказом, смысл которого был тот, что, пока не кончит Академии Художеств, она не может

выйти замуж. На это последовало весьма смутившее девушку согласие ждать этого окончания.

С приезда осенью 1876 года в Петербург к Капустиным и начинается печатаемая часть воспоминаний А. И Менделеевой.

Рассказ о том, как она стала спутницей жизни великого ученого, как прожила с ним более двадцати лет, и составляет содержание этой книги. В центре ее полная своеобразия величественная фигура гениального натуралиста, гордости и славы русской науки, Дмитрия Ивановича Менделеева, духовный облик которого живо передан Анной Ивановной. Ей же принадлежат и прилагаемые в тексте рисунки.

Глава XII, посвященная воспоминаниям об А. А. Блоке, впервые была напечатана в журнале „Всемирная иллюстрация“ за 1923 г. № 11.

Ближайшее участие в составлении примечаний принимала Т. Г. Тепина.

М. Цявловский.

Москва. 12 декабря 1927 г.

А. И. МЕНДЕЛЕЕВА

МЕНДЕЛЕЕВ В ЖИЗНИ

I

В семье Капустиных

В Петербурге Екатерина Ивановна ожидала меня. В августе 1876 г. я приехала к ней на ее новую квартиру, на улицу Глинки, близ Поцелуева Моста. Вся семья встретила меня дружески; очень трогательно было, что комнатка моя была совсем готова, все стояло на месте. Екатерина Ивановна приветливо выразила удовольствие, что я приехала, радовалась за меня и за Надежду Яковлевну, которая, как она говорила, ждала меня с нетерпением.

Интеллигентность семьи Капустиных, уклад их жизни, мне очень нравились. Скромность в обстановке, в образе жизни и в то же время солидность. Все скромно, но завтра будет то же, что сегодня, и никаких неожиданных провалов ждать нельзя. Во главе семьи была Екатерина Ивановна. Кроме тех детей, которые жили с нею, у нее в Петербурге было еще два сына. Один женатый, только что окончивший курс в Медицынской Академии, Михаил Яковлевич Капустин, впоследствии член Государственной Думы, жена его Анастасия Михайловна, тоже женщина-врач, и маленькая дочка Соня; жили они самостоятельно. Другой, Петр Яковлевич, студент Института Путей Сообщения, жил у кого-то репетитором. Был у Екатерины Ивановны еще пасынок, Семен Яковлевич Капустин, совсем пожилой человек, и падчерица, Екатерина Яковлевна Гутковская, вдова, с немолодыми уже детьми: два сына находились на службе и дочь, Екатерина Карловна, занималась в химической лаборатории в Университете. Семен Яковлевич жил в семье Федора Александровича Юрковского, по сцене Федорова;

в то время он был режиссером Александринского театра, а жена его, Лелева, водевильной артисткой. У них было пятеро детей; старшую дочь звали Маней, впоследствии жена Горького, Мария Феодоровна, по сцене Андреева. Семен Яковлевич был как бы членом их семьи и принимал участие в воспитании детей и во всех семейных делах.

Все дети Екатерины Ивановны, родные и пасынки, относились к ней с глубоким почтением и навещали ее. Не бывал у нее только брат, Дмитрий Иванович Менделеев, который был слишком занят. Екатерина Ивановна ездила к нему сама. А Надежда Яковлевна ходила довольно часто и получала от него субсидии на кисти, краски и прочее.

О нем мало говорили, из глубокого к нему уважения, не желая упоминать его имя „всуе". Меня познакомили со всеми родственниками, кроме Дмитрия Ивановича; вместе с Надеждой Яковлевной я стала бывать у них. Екатерина Яковлевна Гутковская занимала большую квартиру на Шпалерной и по воскресеньям принимала родственников и знакомых.

Юрковские жили на Фонтанке, близ Пантелеймоновской. Они по-родственному относились ко всей семье Капустиных и всегда приглашали на свои семейные праздники и на елку. Я тоже бывала приглашена и от души веселилась с их детьми, особенно со старшей, Маней, которая чувствовала ко мне особенную симпатию, о чем говорила, когда встретилась со мной много позднее. На всех этих вечерах меня заставляли танцовать русскую и другие танцы. Помню, как я была довольна, когда опытный артист Федор Александрович Федоров, видевший так много всяких исполнительниц русской, сказал не мне лично, а за глаза, что не видал лучшего исполнения русской. Недаром же я мечтала о балете когда-то! Русскую я исполняла по-своему. Усвоив pas и движения, общепринятые для русской, я с помощью их изображала целую поэму. Вот Россия задумчиво-вопросительно идет к своей судьбе, трагедия—татарское иго. Торжество. Успокоение. Конечно, я никому не говорила содержание моего танца, да и меняла его по вдохновению, но успех был всегда большой.

Надежда Яковлевна брала меня с собой, куда только можно. Взяла она меня и на акт в Университет. Мы с ней, как все

студенты и курсистки, пошли на хоры. Я в первый раз видела такое торжественное зрелище. Надежда Яковлевна и ее брат студент, знавшие всех и все в Университете, снисходительно об'ясняли мне и показывали профессоров: ректор Андрей Николаевич Бекетов с огромной шапкой седых волос, Меншуткин, Бутлеров, Иностранцев, Докучаев, Овсянников, Советов, Вагнер — Кот-Мурлыка, сказки которого я читала. Они занимали места или стояли в ожидании начала. Публика уже наполнила зал. Вдруг какой-то шопот и легкий гул. Лица оживились. Что такое, кто идет? „Менделеев, Менделеев", громко шептали на хорах. В проходе между стульями шел совершенно особенного вида человек. Довольно высокого роста, несколько приподнятые плечи, большая развевающаяся грива пушистых русых волос, блестящие синие глаза, прямой нос, красиво очерченные губы, серьезное выразительное лицо, быстрые движения. Он шел скоро, всей фигурой вперед, как бы рассекая волны, волосы от быстрого движения колыхались. Вид внушительный и величественный, а между тем все улыбались. Такой улыбкой встречают очень популярных людей; такой человек может себе позволить, что хочет — сказать в лицо горькую правду, даже ругнуть — ему будет все прощено. Вот такой улыбкой провожали Дмитрия Ивановича, когда он занимал свое место. „Неужели это ваш дядя?" спросила я Капустину. „Да".— Я все смотрела вниз на него и удивлялась как это у него могут быть племянники и все, как у всех. Как-то все обыденное не вяжется с видом этого необыкновенного человека. А он внизу там что-то живо говорил, делая выразительные жесты. Предмет всеобщего внимания, сам не обращал никакого внимания на окружающее. Он так отличался от остальных, как если бы в птичий двор домашних птиц влетел орел, или если бы в домашнее стадо вбежал дикий олень. Воспоминание об этом университетском акте потом слилось в одну общую картину с фигурой Д. И. Менделеева в центре.

Надежда Яковлевна умела проникать везде, где было интересно, и доставать недорогие билеты на самые редкие спектакли. Местами она не стеснялась. В семье Капустиных отсутствовали буржуазные предразсудки. Помню, я слушала в опере

Нильсон, стоя на коленях. Надежда Яковлевна могла достать на этот спектакль только стоячие места, в проходе, и так как я стояла у самой балюстрады в первом ряду, то, чтобы не мешать другим, стоявшим сзади, стала на колени и наслаждалась наверное не меньше тех, которые сидели в бель-этаже. На исключительно интересный вечер в пользу Литературного Фонда мы прошли, не имея билетов — они были уже распроданы. В программе стояли имена Тургенева, Достоевского, Щедрина и других. Мы решили послушать их во что бы то ни стало. Пришли пораньше и в вестибюле стали изобретать способ попасть в зал. Показывается устроитель вечера Д. В. Григорович. „Дмитрий Васильевич", громко взывает Надежда Яковлевна, а я умоляюще смотрю на него. „Дмитрий Васильевич, позвольте нам послушать Тургенева и Достоевского, у нас есть по рублю", при этом с тоской протягиваем ему наши рубли. Григорович улыбнулся и прямо провел нас в артистическую, где уже были Тургенев и Щедрин. Достоевского ждали. Нам позволено было стоять во время исполнения около эстрады, так что мы близко видели и слышали их и были счастливы. Достоевский читал из „Братьев Карамазовых" сцену Екатерины с Дмитрием Карамазовым, а Тургенев „Касьяна с Красивой Мечи".

Стала я бывать с Надеждой Яковлевной и у Адриана Викторовича Прахова, который читал в Академии Художеств на втором курсе историю искусств. Как первокурсница я еще не могла его слушать. Но я всегда должна была поджидать Надежду Яковлевну, чтобы итти домой вместе после лекции Прахова, вечером, в библиотеке. Лекция читалась там, чтобы пользоваться фотографиями и художественными репродукциями. Мне позволено было ожидать ее тут же в библиотеке. У Прахова бывали жур-фиксы, на которые он приглашал своих учеников, помогавших ему в работах для журнала „Пчела", редактором которого он был. Надежда Яковлевна работала для него и бывала на этих вечерах. Заметив, что я всегда вместе с ней, он позвал и меня. Там мы встречали Шишкина, Максимова, Поленова, братьев Васнецовых, Мамонтова, музыканта Иванова и других. Мы и не сознавали тогда, насколько это общество влияло на наше художественное развитие.

Скоро Адриан Викторович предложил мне урок у его знакомых Мамоновых. Вся вспыхнув от неожиданности, я сказала, что не осмелюсь пока взять урок, так как чувствую себя не готовой к этому, ведь я только что поступила в головной класс. Прахов сказал, что мальчику 8 лет, что родители будут довольны, если он будет занят делом, что урок надо давать на французском языке. Я не решилась противоречить Адриану Викторовичу, который знает наши силы, согласилась и поблагодарила. В душе я очень гордилась оказанным мне доверием и заранее радовалась, как я напишу домой, что даю урок.

Урок этот я довела до конца зимы до моего от'езда, я за него получала три рубля за час, но он принес мне мало утешения. Я не замечала у своего ученика успехов. По молодости и неопытности я думала, что каждый урок должен заметно двинуть ученика, и успех должен быть ясно виден. Но проходил час, ученик много болтал и относился по-ребячески к занятиям. А мать очень часто отвлекала меня разговором, не имевшим ничего общего с искусством. Один раз во время урока ей привезли из магазина несколько картонок со шляпами для примерки и выбора. Она зовет меня и начинает на мне примерять шляп 20, рассматривать и вертеть меня во все стороны, я и сама увлеклась этим интересным занятием и потом трудно было сосредоточиться на уроке. Меня это очень мучило, но ни родители, ни ученик не замечали моих сомнений и были очень довольны. Они брали меня иногда в оперу. С ними я сидела уже не в галлерее, как с Надеждой Яковлевной, а в бенуаре, и знакомые, которые подходили к нам, были не длинноволосые милые студенты, а важные господа во фраках и мундирах.

II

Академия Художеств

Пройдя длинный, узкий коридор, всегда производивший на меня впечатление чего-то таинственного, мы оставляли наше верхнее платье в раздевальной внизу и по узкой чугунной лестнице поднимались в третий этаж, где помещались рисовальные классы, головной, фигурный и натурный. Каждый ученик шел в свой класс и отыскивал свое место. Скамьи со спинками для учеников были устроены амфитеатром перед возвышением, эстрадой для натуры. На свое место надо было перелезть через спинку скамьи или же потревожить уже занявших свои места раньше, чего не любили рисующие.

Рисовальные классы начинались только в пять часов вечера и кончались в семь. Живописные классы были утром от 12-ти до 2-х часов. Ученики гипсовых классов красками еще не писали, и утро после лекций у них было свободно. Это время можно было употребить на приготовление к месячному экзамену обязательных рисунков с манекенов или эстампов в библиотеке, делать наброски в батальном классе с лошадей, в музеях, или, наконец, работать дома. Утром от 9-ти до 11-ти читались лекции. Обязательными лекциями для всех были: анатомия, история искусств, перспектива, архитектура, история русская, история церковная. Для неокончивших курс в гимназии читали еще общеобразовательные предметы, математику, русский язык и прочее. Некоторые лекции посещались охотно, например, история искусств (читал проф. Прахов, потом Сабанеев), анатомия (Ланцерт). А другие не посещались совсем. Из-за этого бывали трагические и комические столкновения.

Некоторые ученики, например, сбривали к экзамену усы и бороду; на замечание профессора, что он его не видел на лекциях, ученик отвечал, что профессор его наверное не узнает, потому что он обрился. Ученицы, которые к таким средствам прибегнуть не могли, были прилежней и ходили раз или два в месяц. Учениц в Академию было принято только 30, а учеников было человек 300. Ученицы были допущены в Академию, как бы на пробу, и пребывание их было не совсем легально. Но раз сделали так: ожидая императора Александра II, в актовом зале выстроили учеников, а впереди поставили учениц. Проходя мимо них, государь сказал: „И барышни тут?" Начальство поспешило сказать несколько слов ему в пользу учениц, и их существование с той минуты в Академии узаконилось.

С чувством глубокой благодарности, удивления и даже восхищения вспоминаю о безукоризненном отношении учеников к ученицам. Они были товарищами, но без фамильярности, дружески внимательны без всякой пошлости. Взятый учениками тон по отношению к ученицам был удивительно верный и приятный. Во все время моего пребывания в Академии ни разу ни один не позволил себе даже в шутку никакой вольности. А ведь это были все молодые люди разных классов общества и воспитания. Бывали, конечно, увлечения и даже браки, но это все на серьезной подкладке. С какой гордостью я вспоминала нашу русскую молодежь, когда много лет спустя в Париже в Ecole des Beaux Arts ученицы, допущенные в первый раз в эту школу, были встречены свистками, шиканьем, бросаньем в них разных предметов, а сторожа, защищавшие учениц, серьезно пострадали. Некоторые ученицы ушли с тяжелой душой, чтобы никогда больше не возвращаться, и только несколько храбрых перетерпели все и добились своего. Как же не гордиться нам нашими товарищами, учениками Академии!

Напрасно добрейший инспектор Павел Алексеевич Черкасов строго следил за поведением учеников и учениц; даже его зоркий глаз не мог подметить никакой некорректности. Товарищи ученики оказывали услуги, чинили карандаши, носили тяжелые папки, но все это по-дружески. Мы ходили вместе с ними в библиотеку, по длинным таинственным коридорам, разговаривая об искусстве, о лекциях, выставках. Было между

учениками много приезжих, со всех концов России: украинцы, кавказцы, поляки, донские казаки, даже якуты и буряты. Может быть, хорошие отношения установились отчасти и благодаря хорошему составу учениц. Кроме Надежды Яковлевны Капустиной, серьезной и развитой девушки, я больше других знала Ольгу Антоновну Лагода, впоследствии Шишкину, очень красивую брюнетку, талантливую, серьезную; ей было уже около 30-ти лет. Екатерина Захаровна Краснушкина, донская казачка, талантливая баталистка, Зарудная, портретистка, Погосская, дочь писателя Погосского, Боруздина—племянница Чистякова; ее работы есть теперь в Музее; Лосева, Барсукова, Грязева и другие.

Когда я начала рисовать в классах, в головном было так много учеников, что он был разделен на два отделения. Внизу были опытные, рисовавшие головы 2-й год. Капустина и Лагода находились там, а наверху были слабые и вновь поступившие; туда поместили меня. Нам поставили голову Александра Македонского; натура стояла обыкновенно месяц, в то время требовали большой законченности рисунков. Надежда Яковлевна и Лагода поддразнивали меня, они слышали, как дежуривший у нас наверху профессор Клодт, говорил внизу у них, что рисунки наверху очень плохи за немногими исключениями, что трудно даже будет их нумеровать. Я утешала себя тем, что ведь это моя первая работа, а они работают уже второй год и готовились переходить в фигурный класс. Переходить можно было три раза в год по третным экзаменам: осенью, среди зимы и весною. Но каждый месяц работы рассматривались и вывешивались по номерам по достоинству. В конце месяца, подав свой рисунок в первый раз, я стала с нетерпением ждать конца просмотра; в нашем головном было человек сто. Наконец рисунки были проэкзаменованы, развешаны, и нас впустили. Я стала искать свою фамилию с конца, уверенная, что он должен быть между последними; дошла уже до 30-го номера, моего рисунка все не было, наконец вот он — 16-й. Радости моей не было границ. Начало было гораздо лучше, чем я ожидала и надежды мои засияли. Следующий рисунок я уже делала в I-м отделении внизу, где работали Капустина и Лагода. Они перешли в фигурный почти вместе, пробыв в головном

полтора года, я же оставалась в головном еще одну треть: весной за голову Геркулеса, которую мне пришлось рисовать в плафоне (что труднее) я была переведена в фигурный — догнала Капустину и Лагоду.

Профессорами в то время были Якоби, Верещагин, Шамшин, Виллевальд (баталист), П. П. Чистяков и М. К. Клодт (пейзажист). По скульптуре—Лаверецкий и фон-Бок. По архитектуре не помню. Дежурные профессора приходили в класс, обходили учеников, делая замечания. Иногда садились на место ученика и поправляли собственной рукой рисунок. Но делали это скучно, машинально. „У вас, изволите видеть, глаз мал, подбородок длинен, нос не на месте", но научить смотреть на натуру, правильному приему они не учили. Исключение представлял Якоби, но он в гипсовых классах не учил.

Отдельно от всех надо поставить Павла Петровича Чистякова. В первый раз я его увидела на второй год моего пребывания в Академии, когда перешла в фигурный класс. В головном он не преподавал. Я в первый раз рисовала целую человеческую фигуру, кажется, Германика. Увлекшись рисунком, я не видела никого и ничего, кроме стоявшей передо мной ярко освещенной гипсовой фигуры да своего рисунка. Чье-то покашливание заставило меня оглянуться. Я увидала нового для меня профессора — худощавого, с негустой бородой, длинными усами, большим лбом, орлиным носом и светлыми блестящими глазами. Он стоял на некотором расстоянии от меня, но смотрел на мой рисунок издали, скрывая тонкую улыбку под длинными усами. По своей неопытности, я сделала странные пропорции тела Германика. Павел Петрович кусал губы, сдерживая смех, потом вдруг быстро подошел ко мне, легко перешагнул спинку скамьи, сел около меня, взял из моих рук резину и карандаш и уже серьезно начал поправлять ошибки. Тут я услышала слова, оставшиеся в памяти моей на всю жизнь: „когда рисуешь глаз, смотри на ухо!" Не сразу я поняла мудрость этого. Прекрасно нарисованная часть лица или фигуры не выразит ничего, если она поставлена будет не на месте и не в гармонии с остальными частями. Но никакое, самое подробное об'яснение не произвело бы такого впечатления и не запомнилось бы так, как загадочное „когда

рисуешь глаз, смотри на ухо!" Сознательно или нет, но Павел Петрович всегда говорил афоризмы, которые запоминались, передавались, летели быстро не только по Академии, но и за ее пределы. Павел Петрович был, что называется, самородок. Всего он достиг собственным умом и чутьем. Общее образование он получил в Академии, а оно было поставлено очень слабо. В Академии Павел Петрович пробыл учеником долго, лет 10. Получил за программу „Софья Витовтовна срывает пояс" золотую медаль и был послан за границу. Он оставался все время в Италии, главным образом в Риме. Там он проникся на всю жизнь благоговением к старым мастерам и изучал их, но больше созерцанием и размышлением. Больших работ из-за границы он не представил. Возвратясь в Петербург, он получил место профессора Академии Художеств и женился. О своей женитьбе он рассказывал, что, будучи еще учеником Академии, отыскивая кого-то по данному адресу и войдя в какой-то двор, он увидел 9-летнюю девочку, в то время ему не знакомую, и вдруг ему ясно пришла в голову мысль, что она будет его женой. Через много лет это совершилось, он женился именно на ней. Когда он возвратился из Рима, она была уже взрослой девицей.

Павел Петрович горел любовью к искусству и изливал ее в своем преподавании и речах. Сам работал, казалось, мало, ничего не выставлял. Годами стояли в его мастерской неоконченные картины — „Мессалина", „Христос, окруженный детьми". Многие об'ясняли это просто ленью. Это неверно. Он был одержим стремлением к высшему идеалу, недостигаемому. Никогда не удовлетворяясь своими работами, он их писал и переписывал, но требования его были слишком велики. Такое строгое отношение к своим работам он прививал и ученикам. Припоминаю случай, бывший со мной. Один раз, когда я работала в мастерской Павла Петровича, он вдруг подходит ко мне и спрашивает, не желаю ли я взять заказ, сделать карандашем „Последний день Помпеи" Брюллова. Удивленная смотрю во все глаза на Павла Петровича. Он повторил опять то, что сказал, прибавив, что мне нет надобности знать, кто делает этот заказ. Но, сказал Павел Петрович, принимать работу будет он. Была сказана и плата (кажется, 200 руб.). И это мне,

ученице, Павел Петрович доверяет такой заказ! Не веря своим ушам, задыхаясь от счастья, я поблагодарила и согласилась. Скоро принялась и за работу. Работала в свободное от Академии время с жаром, усердно; наконец, окончила и сказала об этом Павлу Петровичу. Он пришел, внимательно посмотрел на мой рисунок и сказал. „Хорошо, хорошо. Теперь возьмите чистый лист бумаги и начните сначала, следующий рисунок будет еще лучше". Тут же выяснилось, что заказ сделан Дмитрием Ивановичем Менделеевым для „кого-то". Дмитрия Ивановича я тогда еще мало знала. Узнав от Павла Петровича, как идет работа, он приехал посмотреть сам и потом написал Павлу Петровичу письмо. Я его помещаю, потому что в нем Дмитрий Иванович говорит о характерной черте Павла Петровича, о которой я уже упоминала — непоколебимой строгости.

„Милостивый Государь Павел Петрович.

Сегодня я увидал у Анны Ивановны ее копию с Помпеи. Она мне так нравится, что мне бы хотелось тотчас передать ее владельцу [1]), а при этом снять еще фотографию. Вы же такой взыскательный судья, что мне представляется почти невероятным полное удовлетворение вашим требованиям. Вы, да таковы мы все, за бесконечное совершенствование, а жизнь требует конца-венца и представляется, что дело Анны Ивановны кончено по существу. Оставьте же его, если можно так, как есть, и позвольте зафиксировать. А если так, то Анна Ивановна прямо и привезет картину ко мне. Конечно, все дело Вашего суда и решенья..."

Хотя я знала, что Дмитрий Иванович работой моей доволен, но я послушала Павла Петровича и сделала вторую копию. Он ее одобрил. Это было весной, я отвезла ему свою работу в Царское Село, где он жил на своей даче. Он сам передал ее Дмитрию Ивановичу. Теперь она у меня.

Эту черту характера, строгость, Павел Петрович сохранил до конца жизни. Но он был одинок со своими идеалами. Профессорский академический кружок не понимал его. Художники не академики, передвижники, например, были противоположного

[1]) Дмитрий Иванович почему-то скрывал, что заказчиком был он сам.

направления; они признавали содержание и тенденцию и отрицали идеалы чистого искусства. Не имея единомышленников в художественном мире, Павел Петрович отводил душу с учениками. Репин, Поленов, Серов, Врубель, Остроухов и много других более или менее, талантливых прошли через его руки, и все любили и высоко чтили своего учителя. Илья Ефимович Репин, когда к нему обращались за советом, где учиться, посылал всегда к Чистякову, и своего талантливейшего ученика, Серова, послал к нему же. Павел Петрович учил в классах Академии, учил и в своей мастерской, которая помещалась в Академии, в нижнем этаже. С учеников и учениц Академии, приходивших к нему в мастерскую, платы не брал. Он знал хорошо своих учеников, их особенности и способности. Он часто рассказывал о своей жизни в Италии не длинными описаниями, а короткими яркими картинами. Когда я была после Академии в Риме, некоторые старожилы помнили его. Одна пожилая, очень красивая и известная натурщица Стелла хорошо его знала. Ее он называл gallenacio (индюшка), но больше работал с Джованины. Голову этой модели я видела у Павла Петровича в мастерской; она менее красива, чем Стелла, но более выразительна. Теперь эта голова в Русском Музее. Ее в живых уже не было.

Я, как и все, очень любила, когда Павел Петрович был в настроении рассказывать. Помню академический бал. Я только что должна была начать мазурку, как один ученик подошел и сказал: „Пойдемте, пойдемте, пойдемте скорей!“ Я пошла. Мы вошли в одну из боковых зал. Там за столом, окруженный учениками, сидел Павел Петрович. Со стаканом пива в руке он одушевленно говорил. Я подошла к столу, да так и осталась. Мазурка гремела, я сознавала, что нарушаю все правила этикета, оставив своего кавалера без дамы, но не было сил оторваться. Наконец, показался с постным, обиженным видом и мой кавалер, подошел ко мне за об'яснениями, но они не понадобились—кавалер остался сам. Долго, долго сидели мы за столом, а Павел Петрович, медленно попивая пиво, говорил и говорил. Замолкла мазурка, а мы все сидели. К сожалению, не записала того, что говорилось тогда, но почему-то осталось в памяти, как, рассуждая, кажется, о Турецкой войне, Павел

Петрович сказал о правителях: „Да что, оттого все плохо, не по рисунку начали!"—„И жить надо по рисунку?"—спросил кто-то.—„Еще бы".—

Бывали между учениками грустные случаи непонимания. Сумасшествие одного из них приписали запутанности в непонятных для него идеях Чистякова, некоторые доводили до крайности его систему, и, если посмотреть неоконченные рисунки таких учеников, то многие удивились бы, они напомнили бы рисунки кубистов. Вспоминается мне, как сравнительно не так давно (в 1912 году) я работала в Париже на Montparnasse, в мастерской Henri Martin. Как-то он должен был уехать в провинцию для компановки заказанных ему панно. Мы на две недели остались в мастерской одни. Пользуясь свободой, мне вздумалось сделать рисунок „по-чистяковски". В разгаре моей работы, подходит ко мне один из учеников и спрашивает: „Скажите, пожалуйста, где вы учились?" Я ему ответила вопросом: „А почему вы меня это спрашиваете?"—„Да потому, что я здесь вижу в первый раз, чтобы работали по системе нашего молодого Мюнхенского (я из Мюнхена) художника (имени не помню). Я подумал, не у него ли вы учились".—„Нет, ответила я, я училась у старого русского профессора". Общее изумление.

Возвращусь ко времени моего пребывания в Академии. Я сделалась ученицей Павла Петровича, поверив в него всей душой. Ходила к нему и в его частную мастерскую. Впоследствии мы собирались еще раз в неделю по вечерам после Академии у его ученика Владимира Викторовича Осипова. Он был москвич из семьи старообрядцев, любил искусство, был хороший товарищ, очень добрый, порядочный человек и имел огромное состояние. Уверовав в Чистякова, стал его преданным учеником. Как-то он предложил самым близким ученикам Чистякова, Вас. Евм. Савинскому, Н. А. Бруни, Селезневу, Погосской, Лосевой и мне собираться у него по вечерам рисовать с живой натуры под руководством Павла Петровича. Павел Петрович согласился, а про нас и говорить нечего—мы были счастливы. Прямо из классов мы вместе с Павлом Петровичем шли прямо через Неву на Конногвардейский бульвар, в дом Утина, где была квартира Осипова. Здесь Павел Петрович был между своими и высказывался особенно охотно. Так работали

мы дружно и усердно. Но раз работа наша была неожиданно прервана. Собрались мы, по обыкновению, в полном составе Позировала натурщица Мария Васильевна Троценко, красивая, молодая девушка. Мы увлеклись работой, и только Павел Петрович своими остроумными замечаниями нарушал тишину. Вдруг слышим, по комнатам большой квартиры Осипова раздаются чьи-то шаги и звяканье шпор. Удивленно переглядываемся. Осипов пошел взглянуть и очень смущенный возвратился в сопровождении жандармского полковника и нескольких человек его помощников. Вежливо извиняясь, полковник сказал, что командирован произвести здесь обыск. Нас просил продолжать рисовать, не волноваться, не обращать на него внимания и позволить ему приступить к исполнению своих обязанностей. Долго он оставался в кабинете Осипова. Окончив там свое дело, опять вошел в нашу комнату, галантно извиняясь и улыбаясь сказал: „Вот вам и сюжет для картины. „Обыск в доме". Затем сказав несколько комплиментов относительно очаровательного общества, которое ему не хотелось бы покидать, он раскланялся и вышел. Мы проводили его холодным полупоклоном и остались в недоумении. Осипов больше всех. Вероятно, наши собрания в определенные дни и часы внушили подозрения (шпионство было в то время очень развито). Занятия наши мы не прекратили и во главе с Павлом Петровичем продолжали заниматься у Осипова.

Как Павел Петрович был отзывчив, можно видеть из следующего случая. Я была переведена в натурный класс, где начинали писать красками, но, прежде чем начать с натуры, требовалось представить копию с какого-нибудь этюда, висевшего на стенах натурного класса. Это были лучшие этюды прежних учеников, был даже этюд Брюллова. Эту скучную работу делали в небольшой комнате, рядом с натурным классом. Мне достался этюд Венига. Этой работой я очень тяготилась. Старшие товарищи из натурного класса заходили ко мне помогать, конечно, тайно от профессора и инспектора Павла Алексеевича Черкасова. Но раз в нашу копировальную неожиданно вошел дежурный профессор В. П. Верещагин, по прозванью Василий Темный, и увидел возмутившую его душу картину. Я сидела очень непринужденно на его профессорском кресле, а два стар-

ших ученика с палитрами и кистями за мольбертом усердно доканчивали мой этюд в 4 руки. Профессор ничего не сказал, но когда копия была представлена, он на ней начертал: „сделать другую". Весь класс разделял мое горе, и я в отчаянии побежала за утешением к Павлу Петровичу, даже всплакнула. Он понял мое горе и пожалел. Еще, бы писать с этюда, когда тут рядом стоит живая натура. Павел Петрович дал мне такой выход: работать с натуры в его мастерской, а копию делать в свободное время. Это было прекрасно во всех отношениях. Я подумала: „нет худа без добра, и что ни делается, то к лучшему". Таким образом, я приступила к работе с натуры красками под руководством Павла Петровича. Лучшего нельзя было и желать.

В последние годы Павлу Петровичу пришлось пережить много тревожного. Когда конференц-секретарь Исеев за какие-то злоупотребления был удален, удален был потом и ректор (кажется, Шамшин), место это было предложено гр. Ивану Ивановичу Толстому. Толстой задумал реформы. Прежних академических профессоров он стал удалять и обратился к передвижникам с предложением профессорских занятий в Академии. Передвижники не признавали академическую школу, они были реалисты, отрицавшие чистое искусство, но это были честные, убежденные люди, сильные и крепкие своим единением. Первый, кто принял приглашение Толстого, был Архип Иванович Куинджи. Одного за другим он привлек на свою сторону своих товарищей передвижников — Репина, Вл. Маковского, Киселева, Шишкина, Кузнецова. Когда Ив. Ив. Толстой стал осуществлять свою реформу, Чистяков ушел в тень. Не знаю, по своей инициативе или под давлением обстоятельств, он оставил живописные классы, перешел в мозаичное отделение и только несколько лет спустя был приглашен вновь профессором живописи на место ушедшего И. Е. Репина. Все время он оставался верен себе. Скончался Павел Петрович в Детском Селе 80-ти с чем-то лет. Он оставил по себе у всех добрую и светлую память, а в учениках глубокую вечную благодарность.

Влияние его на русскую живопись еще не оценено вполне. Стоит только вспомнить, что из его школы вышли Серов,

Врубель, Савинский, Бруни. Репин и Поленов хотя и не были его учениками, но высоко ценили его, как учителя.

Из профессоров лекторов охотней всего слушали А. В. Прахова, который читал историю искусств. Он путешествовал по Египту и особенно долго останавливался на искусстве древних египтян. Он так живо описывал нам храмы в Луксоре и Фивах, точно мы сами там побывали. При мне он читал только один год, его сменил Сабанеев; его лекции были менее живы, но более систематичны. Охотно ходили мы также на лекции анатомии, которые читал профессор Ланцерт. Она продолжалась два часа, час собственно лекция и час рисование скелета и мускулов. Иногда он приносил в банке препараты, но показывал тем, кто хотел и мог их видеть. Он прекрасно знал свой предмет, но на лекции художникам, которым читалась анатомия неполная, только скелет и мускулы, он смотрел не очень серьезно. Любил шутить: помню, как он вызвал меня на экзамене и сказал. „Ну, нарисуйте нам череп — череп девицы... только хорошенькой". В Академии он любил бывать, ходил в Кушелевскую галлерею и в Скульптурный Музей.

Экзамены для нас вообще были не трудны, и паники не было. Больше всего волновали и оживляли учеников эскизы. Тема давалась профессорами большей частью из Библии и античного мира. Эскизы могли подавать все, но обязательны они были для натурного класса. Мой первый эскиз, заданный профессором Якоби — „Клеопатра, едущая к Антонию по Нилу". Я так увлеклась этим эскизом, что работала его всю ночь, ползая по полу, так как у меня в комнате в то время не было ни мольберта, ни довольно большого стола. Представленные эскизы делили на четыре категории: в первую попадали лучшие, в четвертую худшие. Мне кажется, мой эскиз был слабо исполнен, но попал во вторую категорию за фантазию, которой я дала полную волю.

Во дворе Академии, отдельно от главного здания, за садом, помещался батальный класс, где рисовали лошадей. Их приводили солдаты из разных полков, частью и из казачьих. Там был особый мир. Профессор Виллевальде приходил раза два в неделю; остальное время ученики оставались одни и очень весело проводили время. Я ходила туда иногда к моей землячке

Екатерине Захаровне Краснушкиной, избравшей своей специальностью батальную живопись. Высокая, худощавая, со стриженой курчавой головой, вечно смеющаяся, она была очень мила и забавна. Баталисты были народ веселый, в то время в батальном были: Мазуровский, Самокиш и другие. Они устраивали в классе баталии, турниры, а Краснушкина раз вздумала покататься в классе, села на лошадь, которая, на беду, оказалась норовистой и стала выделывать скачки и разные штуки. Когда ее укрощали, вдруг неожиданно вошел Виллевальде, но он не рассердился, а даже смеялся, когда испуганную Краснушкину солдаты и ученики снимали с лошади. Мы ходили в батальный изредка делать наброски лошадей и отчасти для развлечения.

В скульптурном классе преподавали Фон-Бок и Лаверецкий, между учениками были Беклемишев, Залеман, Диллон и Гинцбург. Беклемишев, молодой красавец, высокого роста, с длинными черными волосами и глазами, прекрасная модель для героя романа. Гинцбург — маленькая фигурка, смеющийся, живой отлично имитировавший разные типы: портного, дамы, делающей прическу, и проч., и проч. Диллон, серьезно работавшая и подававшая надежды; Залеман непомерного роста, угрюмый, молчаливый, упорно работавший и изучавший формы, не разменивая своего таланта на мелочи, не стремившийся блистать мелкими композициями, таивший свои художественные образы в глубине души, чтобы проявить их, когда овладеет возможностями, техникой.

Из учениц я больше всех сошлась тогда с Погосской, дочерью писателя Погосского. Лагода в то время оставила Академию и занималась у Шишкина, Капустина тоже вышла из Академии, занялась литературой и писала в то время свой первый роман „К росту“, который одобрил Достоевский. София Александровна Погосская много рассказывала мне о своей заграничной жизни. Отец ее был эмигрантом, другом Герцена, о котором София Александровна также говорила мне. Мы ходили с ней по Кушелевской галлерее, по таинственным академическим коридорам. Она способствовала до некоторой степени моему художественному развитию, так как видела уже главные музеи Европы и передавала мне свои впечатления.

Иногда мы с ней спускались в нижний этаж, в мастерскую пейзажиста Орловского, ее знакомого. Он показывал нам свои новые картины, которые писал очень быстро по летним этюдам. Поляк, среднего роста, очень светлый блондин, с большими светлыми глазами, красноватым лицом, он не блистал красноречием, но мастерская была переполнена его этюдами, которые красноречивей слов передавали прелесть малороссийской природы. В то время он писал большой пейзаж Киевской губернии. У него встречали мы разных посетителей, видели там и знаменитого артиста Самойлова, уже пожилого, но остроумного и живого. У Орловского висело чучело тетерки. Самойлов нашел, что движение придано ей неправильное и начал представлять, быстро двигая руками и всем телом, полет тетерки. Было очень забавно и, кажется, верно. Он любил расспрашивать нас о наших занятиях, сам он рисовал акварелью. Впоследствии у меня был его маленький морской вид, сделанный очень недурно акварелью. [1])

[1]) Погиб вместе с другими картинами.

III

У Д. И. Менделеева

Незадолго до экзаменов, в апреле 1877 г., Екатерина Ивановна сказала, что имеет в виду квартиру почти против Академии, на 4-ой линии Васильевского острова, что она освободится только к осени, что брат Дмитрий Иванович предлагает ей переселиться к нему, и что ее это очень устраивает. Мне, конечно, было все равно. И вот, раз из Академии мы пошли не на улицу Глинки, а в Университет, где нам с Надеждой Яковлевной уже устроили в гостиной помещение, и все наши вещи были перевезены. Квартира Дмитрия Ивановича была устроена так, что он мог в эту половину квартиры и не показываться. Из его комнаты был ход через кабинет в лабораторию и дальше. А тот ход, с которого ходили мы, выходил на парадную лестницу, которая вела в актовый зал и церковь. Мы и не встречали Дмитрия Ивановича; по целым дням нас не бывало дома, а обедали мы в другое время, чем он. Раз как-то Екатерина Ивановна позвала меня и попросила что-то подержать и помочь в работе. Вдруг послышались раскаты громкого мужского баритона, легкие шаги, и в следующей комнате, в двери, куда, оставив меня, Екатерина Ивановна вышла, я увидела Дмитрия Ивановича, страшно возбужденного, и Екатерину Ивановну, спокойно отвечавшую. Вид Дмитрия Ивановича меня поразил; он меня не видал, я же хотела исчезнуть, хотя бы сквозь землю, так я была испугана. Дмитрий Иванович убежал к себе, а Екатерина Ивановна возвратилась к своей работе и, видя мой испуг, засмеялась: „Ничего нет особенного, Митенька всегда так". Раз как-то я играла на рояле, который стоял у нас

в комнате. Мне сказали, что Дмитрий Иванович, зайдя к сестре, спросил, кто играет, и довольно долго слушал. Узнав это, я почти перестала играть, так как боялась чем-нибудь проявить мое присутствие и, может быть, помешать. В семье был кумир — Дмитрий Иванович. „Дмитрий Иванович спит", „Дмитрий Иванович пришел с лекции, устал, скорей чаю", „Дмитрий Иванович пошел в лабораторию, не опоздать бы завтрак ему подать" и проч., и проч. В воскресенье Дмитрий Иванович присутствовал за нашим обедом. Меня с ним познакомили. Я сидела все время молча, испытывая какой-то страх и непреодолимое смущение в присутствии такого необыкновенного человека. Дмитрий Иванович был в хорошем настроении и много говорил. Через несколько времени Екатерина Ивановна сказала, что Дмитрий Иванович хотел бы сыграть в шахматы, он устал — утром были экзамены, никого нет, кто бы умел играть. Сын Екатерины Ивановны, студент, с которым я играла всю зиму, ушел, и они просили меня. Я очень смутилась, но отказаться не было возможности: Дмитрий Иванович уже шел с шахматами, надо было играть. Не помню, как я играла, наверное, плохо: я не могла забыть ни на одну минуту, с кем я играю. Дмитрий Иванович, не желая ставить меня втупик, исправлял мои неудачные ходы. Так мы сыграли две партии. Дмитрий Иванович что-то меня спрашивал, я отвечала, стесняясь и конфузясь. Мне приходилось играть на рояле, когда Дмитрий Иванович усталый приходил с экзаменов позавтракать. Екатерина Ивановна усаживала меня: „Играйте, матушка, играйте, он будет добрей на экзамене",— прибавляла она, посмеиваясь. Вечером приходилось играть в шахматы, и всегда я чувствовала особенную робость, волнение и смущение. Дмитрий Иванович стал все чаще и чаще заглядывать к нам; у нас часто бывали О. А. Лагода с сестрой Викторией Антоновной, Александра Владимировна Синегуб, О. Петерсон и другие. С Дмитрием Ивановичем был его сын Володя, прелестный добрый мальчик лет 12, который готовился в Морской корпус. Он любил Екатерину Ивановну и всю семью; со мной он тоже подружился, показывал мне университетский сад, разные книги и мило разговаривал. Слышала я, что у него есть мать и сестра, которые живут в имении Боблово Московской губернии.

Как-то в праздник Дмитрий Иванович задумал сделать нам всем удовольствие — прокатить на пароходе в Кронштадт, я никогда не ездила на пароходе и моря не видала, а Володя, который выбрал морскую службу по призванию, своими рассказами еще больше разжигал мое нетерпение.

Мы поехали большой компанией с Дмитрием Ивановичем во главе. Он все время был в очень хорошем настроении, а про нас и говорить нечего — мы были в упоении.

Иногда Дмитрий Иванович читал нам вслух; так был прочитан Байрон. По вечерам Дмитрий Иванович попрежнему играл со мной в шахматы, я даже стала делать успехи в игре и меньше дичилась.

Приближался конец экзаменов в Академии — день моего отъезда. В памятный мне вечер Дмитрий Иванович пришел с шахматами и сел со мной играть. Надежды Яковлевны не было дома. Мы с Дмитрием Ивановичем были одни. Я задумалась над своим ходом. Желая что-то спросить, я взглянула на Дмитрия Ивановича и окаменела — он сидел, закрыв рукой глаза, и плакал. Плакал настоящими слезами; потом сказал незабываемым голосом: „Я так одинок, так одинок". Мне было невыразимо жаль его. „Я одинок всегда, всю жизнь, но никогда я этого не чувствовал так болезненно, как сейчас". Видя мою растерянность: „Простите, — продолжал он, — простите, вас я смущать не должен". Он вышел. Дмитрий Иванович в то время писал каждый день мне письма, но не передавал их, а откладывал в особый ящик. Он продолжал их писать, когда я уехала и также письма не посылал, а откладывал в тот же ящик. После моего отъезда Капустины, которые заметили состояние Дмитрия Ивановича, сказали ему, не без умысла, что, по всей вероятности, я не возвращусь, так как у меня есть жених, от которого я получила подарок. Дмитрий Иванович продолжал писать и откладывать письма. Он хранил эти письма, как драгоценность. Одно время, когда он уезжал за границу, эти письма вместе со своим завещанием он отдал на хранение А. Н. Бекетову. Письма он завещал мне тогда, когда еще не надеялся стать моим мужем. Я их читала уже замужем. Великая душа, могучий поток прорвавшегося чувства нашли выражение в этих письмах в сильной и оригинальной

форме. Передать их нельзя. Везде он говорит, что желал бы быть ступенью, чтобы помочь мне подняться выше. Ни в одном письме не было определенной надежды на брак, но все были проникнуты чувством обожания безнадежного, но непобедимого, стихийного [1]). А ведь он думал, что я чья-то невеста и не возвращусь.

Ольга Антоновна Лагода и Надежда Яковлевна говорили, что давно заметили увлечение Дмитрия Ивановича, но я, которая видела только его слезы, об'ясняла его оживление тем, что, как он сказал сам, он томился одиночеством и искал сочувствия. Он был женат, имел двух детей, сына Володю и дочь Ольгу. Я не могла допустить, и мне не приходила даже мысль в голову, что он захочет сделать меня женой. Уважая в нем великого человека, я не понимала, что́ может дать ему дружба и сочувствие такой девочки, какой была я. Но я видела, что он несчастлив. Уезжая домой, я увезла чувство горячего сочувствия к его непонятому страданию.

В Новочеркасске, на вопрос моего бывшего жениха: „Вы, вероятно, полюбили кого-нибудь“—я ответила спокойно „нет—никого“.

Когда после каникул я возвратилась в Петербург, Капустины еще жили в Университете, где намеревались остаться на всю зиму. Меня поместили опять с Надеждой Яковлевной в гостиной. Все как-будто было по прежнему. Мы ходили в Академию Художеств на лекции по утрам и в рисовальные классы по вечерам, только я теперь была в фигурном. Был тот же круг знакомых, но все изменилось, как меняется природа, когда налетает буря, сгустятся тучи и сверкнет молния.

[1]) Эти письма Дмитрия Ивановича, а также и писанные им из разных мест, за 27 лет нашей совместной жизни, когда он уезжал без меня в командировки, завещание и некоторые ценные документы были отданы мной в Государственный Банк в 1908 году на хранение. Первое письмо написано, когда он в первый раз увидал меня за обедом в воскресенье у Екатерины Ивановны, а последнее я прочла уже после смерти Дмитрия Ивановича; оно было запечатано, и на конверте сделана надпись: „Анне Ивановне Менделеевой, вскрыть после моей смерти“. Содержание его таково, что я считаю его для себя священным. Когда я в 1921 году представила квитанцию, желая их получить, мне сказали, что они отправлены в Москву. В Москве я поручила влиятельным лицам найти их, делала недавно еще попытку, но все безуспешно — они пропали.

IV

Петербург и Рим

Скоро не только Надежда Яковлевна и Лагода, но и Екатерина Ивановна заметили увлечение Дмитрия Ивановича, который по своему характеру и не хотел его скрыть. Екатерина Ивановна решила оставить во всех отношениях удобное и даровое помещение у брата, наняла (в ноябре 1877 г.) маленькую квартирку из 4 комнат и переехала с нами туда. Она думала, что этим прекратит все. Но не таков характер Дмитрия Ивановича. „Можно ли бороться с ураганом. Он только сокрушает. Может ли река бороться с напором прилива с моря“ [1]). Я чувствовала, как все больше и больше утопала в нахлынувшем на меня потоке. Дмитрий Иванович приходил к нам на 4-ю линию. У себя он устраивал вечера по пятницам для нас, молодежи: двух студентов, братьев Капустиных, их товарищей Весселя и Ленци, О. А. Лагоды, Н. Я. Капустиной и меня. Много читали и говорили там, главным образом Дмитрий Иванович. Кое-что было записано Надеждой Яковлевной. Живостью и энергией Дмитрий Иванович не только не уступал молодежи, но далеко оставлял ее за собой. Так проходило время. Дмитрий Иванович не пропускал случая доставить нам что-нибудь интересное. Искал выхода своим душевным бурям в том, что он называл „служить ступенью“. Он хотел облегчить мне со временем доступ в художественный мир, для чего начал посещать выставки, мастерские художников, знакомиться с ними и увлекся так, что начал покупать картины. Художники стали бывать у него, и скоро начались

[1]) Рабиндранат Тагор.

очень известные менделеевские „среды". Бывали на них постоянно все передвижники: Крамской, Репин, Ярошенко, Мясоедов, Кузнецов, Савицкий, Вл. Маковский, М. П. Клодт, Максимов, Васнецовы, Суриков, Шишкин, Куинджи, Киселев, Остроухов, Волков, Позен, Лемох, Прахов, Михальцева. Из профессоров университета чаще других А. Н. Бекетов, Меншуткин, Петрушевский, Иностранцев, Вагнер, Воейков, Краевич. Дмитрий Иванович так вошел в художественный мир, что был избран впоследствии действительным членом Академии Художеств. На среды приходили без особых приглашений. Художники приводили новых, интересных чем-нибудь, гостей. Бывали братья Сведомские, когда приезжали из Рима, Котарбинский, В. В. Верещагин и много других. Пробовал Дмитрий Иванович привлечь из Академии Чистякова, Орловского и М. К. Клодта, но Чистяков слишком расходился во взглядах на искусство с передвижниками. У Дмитрия Ивановича он бывал, но не по средам. Среды эти художники очень любили. Здесь сходились люди разных лагерей на нейтральной почве. Присутствие Дмитрия Ивановича умеряло крайности. Здесь узнавались все художественные новости. Художественные магазины присылали на просмотр к средам новые художественные издания. Иногда изобретатели в области искусств приносили свои изобретения и демонстрировали их. Тогда зародилась у Ф. Ф. Петрушевского мысль написать свою книгу о красках. Иногда на средах вели чисто деловые беседы, горячие споры, тут созревали важные товарищеские решения вопросов. И иногда бывали веселые остроумные беседы и даже дурачества, на которые художники были неисчерпаемы. Кузнецов великолепно представлял жужжание летающей мухи, Позен—проповедь пастора и разные восточные сцены, М. П. Клодт танцовал чухонский танец и все имели огромный запас рассказов из своих поездок, столкновений с народом и представителями высших сфер. Иногда приносили новости, журнальные статьи, не пропущенные цензурой. Атмосфера, которую Дмитрий Иванович создавал, куда бы ни появлялся, высокая интеллигентность, отсутствие мелких интересов, сплетен делали эти среды исключительно интересными и приятными. Я очень смущалась тем, что Дмитрий Иванович, как он говорил, создает это для меня. Я чувство-

вала себя еще такой маленькой; смогу ли я когда-нибудь по праву стать членом такого общества?

Переезд Екатерины Ивановны нисколько не отдалил Дмитрия Ивановича; как я сказала уже, он приходил к нам, а, главное, его состояние духа было такое, что он, с моего согласия, написал моему отцу обо всем, прося его дать согласие на наш брак. Отец в ответ на это письмо приехал сам. Долго он говорил с Дмитрием Ивановичем, с Екатериной Ивановной, со мной и решил, что в виду крайней сложности обстоятельств (Дмитрий Иванович был женат и согласия на развод все не получал), в виду огромной разницы лет, убедить Дмитрия Ивановича справиться со своим чувством и дать слово, что он со мной не будет видеться. Екатерину Ивановну просил не обижаться, если он возьмет меня от них. Она все поняла и одобрила. Тут доказала свою искреннюю дружбу Александра Владимировна Синегуб, с которой отец также много говорил. Она взяла маленькую квартиру, чтобы жить нам вдвоем; все заботы о хозяйстве она оставила на свою долю.

Устроив все таким образом, отец уехал, доказав еще раз свою ко мне любовь, доверие и великодушие — ведь он мог бы просто увезти меня на Дон. Он понимал меня и верил мне.

Первое время в нашей маленькой квартире я чувствовала себя точно в тихой пристани, но очень скучала по семье Капустиных, особенно по Надежде Яковлевне, которая не одобряла решения моего отца. Любя дядю, она хотела бы другого выхода. Выразила она это своей холодностью ко мне, отчего я очень страдала. Дружбу ее я ценила и мне ее не хватало. Александра Владимировна была ко мне добра, как сестра, и, чтобы развлечь меня, пригласила к себе на Рождество в Полтавскую губернию, где жил одиноко старый отец. Я приняла ее приглашение, и мы поехали. Отец Александры Владимировны, Владимир Силович, был нам очень рад. После всех бурь, которые мне пришлось пережить, хорошо было попасть в затишье хутора Заплавки, на берегу реки Орели, в Полтавской губернии. Снежные поля, колядки, пенье здоровых дивчин и парубков, гоголевские типы соседей, мудрые спокойные речи старика Синегуба с его длиннейшей трубкой,— все благодетельно отвлекало меня от моих еще свежих тревог и переживаний в Петербурге.

Особенно родственные заботы и ласки Александры Владимировны давали утешенье и отдых. Мы развлекались и радовали старика нашей молодостью, дружбой и рассказами. Как лунь седой, в бархатном синем халате с белым воротником из ангорских коз и с длинной-длинной трубкой в своем большом кресле, он сидел около огонька камина, улыбаясь, слушал нас, покуривая, а иногда рассказывал и сам о своем прошлом. Две недели скоро прошли, и он с сожалением отпустил нас; провожал он нас сам за несколько верст до хутора Сенжары, дальше мы поехали одни на тройке верст 30 до станции Малая Перещепина. Прощай Малороссия!

В Петербурге ожидало меня нечто непредвиденное. Дмитрий Иванович не мог сдержать слово и все-таки встречал меня в залах Академии и даже у ворот Академии, откуда ученики и ученицы выходили после вечерних классов. К тяжести всего переживаемого прибавилось еще много досадных беспокойств. Сделалось известно в университете об увлечении Дмитрия Ивановича, о котором, как всегда в таких случаях, толковали вкривь и вкось. Ученики Академии, видя Дмитрия Ивановича иногда у ворот, скоро поняли, кого он ждет. Все это было досадно и больно; профанировалось такое высокое, святое чувство. Философски ко всему, по молодости лет, я еще не умела отнестись. Александра Владимировна была моим верным другом и поддерживала меня в это трудное время. Занятия мои шли благополучно; весной я перешла в натурный класс. Никогда я еще не уезжала с таким нетерпением домой — так была для меня тяжела эта зима.

Осенью я опять поселилась с моим другом Александрой Владимировной. Опять начались встречи и тревоги. Все это было мучительно для Дмитрия Ивановича. Он заболел. Сергей Петрович Боткин, его друг с юных лет, посоветовал ему уехать в Биариц. Дмитрий Иванович провел там всю зиму. Русские, жившие в Биарице, старались его развлекать, и он не уклонялся; он очень поправился здоровьем, но среди зимы он все-таки не вытерпел и приехал на три дня повидаться.

Моя жизнь шла обычным порядком. Работала в Академии, круг знакомых даже расширился. Я стала посещать по вече-

рам раз в неделю лекции по философии на Высших курсах. Бывала в театрах, слушала музыку, сама играла, но ничто не могло заполнить пустоту души, все мне казалось тусклым, бледным после того, как заглянула в душу такого человека, как Дмитрий Иванович, которого я оценила вполне тогда, когда он был от меня так далеко. Я почувствовала, что потеряла с ним. Я очень надеялась, что найду исход всему в своем призвании, в искусстве, и продолжала бороться с судьбой. И так прошел еще год.

Лето проводила, как всегда. Была попрежнему у себя на Дону.

Когда осенью (1880 г.), приехав в Петербург, я встретила Дмитрия Ивановича, нам обоим стало ясно, что ничто в наших отношениях не изменилось да и измениться не может. Отец, которому я все написала, нашел геройский выход: предложил мне самой уехать за границу. Это нарушало правильность моих занятий в Академии, но пришлось согласиться с отцом, после всех его доводов, что это было лучший выход. В Риме жили многие из наших художников: Рицдони, Сведомские, Бронников и другие. К ним мне обещали дать рекомендательные письма. В конце концов работать можно везде. Я тоже наметила себе план: сделать копию с одной или двух картин в музеях Рима, чтобы их продать и облегчить этим расходы отца. Александра Владимировна не хотела меня оставить и решила ехать тоже со мной, но перед самым отъездом получила телеграмму о серьезной болезни отца и поспешила к нему. Он скоро скончался.

Дмитрий Иванович, несмотря ни на что, верил в лучшее будущее для нас. Он все время у меня бывал, давал советы и рекомендательные письма в Рим, но чувствовалось, что он делает огромное усилие, чтобы поддерживать в себе такую бодрость [1]).

Я уезжала одна (в начале декабря 1880 г.), Александра Владимировна должна была ехать к умирающему отцу. Дмитрий

[1]) Теперь, может быть, покажется странным, что губилась жизнь такого человека, как Дмитрий Иванович, но это было в 1881 году, когда взгляды были иные, чем теперь, и изменить их у моих родителей было невозможно. А не оправдать доверия отца, верившего в меня, приносившего мне всякие жертвы, было бы бесчеловечно.

Иванович провожал меня, помогал сам укладывать красивый кофр, купленный для этого путешествия; был и особый замок с буквами, который отпирался на слове Roma. Дмитрий Иванович давал мне полезные советы, принес разные путеводители, Бедекера также. Мы простились с ним, как люди, идущие на подвиг, решившие пожертвовать личной жизнью.

Вержболово. Пограничные хлопоты с багажом, паспортом были выполнены благополучно. Вот пограничный столб. Впоследствии, когда я столько раз равнодушно проезжала мимо этого столба, меня трогало воспоминание о том, как билось мое сердце, когда в первый раз столб остался сзади, а я очутилась в Германии. Жадно всматривалась в окружающий новый мир. В Берлине остановка на два дня в отеле, отмеченном Дмитрием Ивановичем в Бедекере. Мой несовершенный немецкий язык не мешает мне об'ясняться и все понимать. В отеле за столом меня посадили между пожилыми мужем и женой, которые говорили со мной ласково и любезно. Они посоветовали мне пойти вечером в оперу, что я и сделала. Давали оперу молодого немецкого композитора, кажется, Рихтера, подражанье Вагнеру. Музыка мне не понравилась, должно быть и многим — имя этого композитора я слышала в первый и последний раз. Наскоро осмотрела Берлин.

Едем дальше. Смотрю в окно вагона. Чем дальше, тем лучше. Пожилой швейцарец называет мне места, которые проезжаем, и в глазах его светится столько проникновенной любви к своей стране, что она стала симпатична и мне. Проехали границу. Италия. Юг. Итальянский говор — итальянский голос, итальянская улыбка. В Болонье нас просят выйти из вагона, что-то говорят, мы понимаем только одно, что дальше нас не везут. В Рим едут также мои спутники — немка, приглашенная бонной в итальянскую семью, и немец, молодой, упитанный. Немка, взволнованная неожиданной остановкой, завладела дежурным итальянским офицером, бегала по платформе взад и вперед, быстро болтая по-немецки, а он, ровно ничего не понимая, отдавал ей вежливо честь и посматривал по сторонам, отыскивая предлог для бегства. Об'яснил нам все наш спутник немец: между Болоньей и Пистойей в тунеле произошел обвал; надо

переждать, когда путь будет исправлен. Мы отправились в ближайший маленький, грязный отель и поместились там. Я с немкой в одной комнате. Вечером она мне об'явила, что мы будем спать по-очереди, по часам; пока одна спит, другая пусть сторожит, что в Италии все разбойники, и что в этом отеле, наверное, всех грабят. Я смотрела на нее во все глаза, но сторожить ее было свыше моих сил, и я спала, не просыпаясь, до самого утра. Каждый день мы ходили справляться на вокзале. Нам уже надоело ждать в Болонье, в грязном отеле, пить кофе с ослиным молоком, да и денег у нас было очень мало; у меня мои были переведены в банк в Рим, оставлено немного на дорогу, и остановка в Болонье не предвиделась. Немка выходила из себя, она боялась, что потеряет место. Выход из неприятного положения нашел наш товарищ по несчастью, немец. Он предложил ехать в Пистойю на лошадях. Пусть тунель остается, а мы переедем Апеннины по горной дороге; багаж в горы брать нельзя — тяжело, его придется оставить, пришлют потом. Я была в восторге. Через горы на лошадях. Да это никогда бы не пришлось, если бы не такой случай. Немка сомневалась, сердилась, бранилась, но должна была присоединиться — не оставаться же одной. Немец все устроил, нашел лошадей, торговался, распорядился насчет багажа — одним словом, показал себя в самом лучшем свете. Под'ем в горы продолжался часа четыре. Красота гор, стада овец и коз с живописными фигурами пастухов, быстрые ключи — водопады, текущие с гор,— все это описано пером и красками. Но что никто не сумел бы описать — это мой юный экстаз. Красота вечная, величавая, чарующая и покоряющая была передо мной — я радовалась своему бытию. Незаметно мы доехали до Пистойи.

Пистойя — ряд маленьких каменных домиков на берегу маленькой речки. Женщины усеяли берег, они стирают белье, пересмеиваются, громко перебраниваются; чернобровые, черноглазые, в своих итальянских костюмах очень живописны.

В Пистойе мы сели на поезд, отправлявшийся в Рим. В Бедекере у меня был отмечен Дмитрием Ивановичем отель Del Pace на Via Sistina. Туда я и поехала, без багажа, без денег, без рекомендательных писем и без адресов рекомендованных мне художников, все было в чемодане, оставленном в Болонье.

Отель был очень солидный, наполненный семейными англичанами. За обедом они оживленно разговаривали и все знали друг друга. Я была одна; молча приходила из своей комнаты и молча уходила туда же. Это должно было казаться странным, но с благодарностью вспоминаю, как приветливо англичане отнеслись ко мне, заговорили они со мной первые. Я им рассказала о своем приключении; они обещали следить по газетам о прибытии багажа; багаж все не приходил. Я начинала уже томиться своим одиночным заключением. Единственным развлечением был Бедекер, которого я стала изучать, наблюдала еще в окно улицу. Взглянув раз на противоположную сторону улицы, я заметила на одном из домов номер 123. Почему этот номер я помню? Должно быть мне его называли, давая нужный мне адрес. Может быть там живет Риццони или Бронников. Отчего мне не спросить? Плохо, что совсем еще не знаю итальянского языка и в мои 19 лет еще боюсь за петербургский костюм: у меня синее пальто, круглая шапочка, а здесь все в английских костюмах и в красивых шляпах „Рембрандт“ с широкими полями. Все равно — одеваюсь и выхожу. Привратник стоял в дверях, я заговорила по-французски. Как только я назвала Риццони, он закивал головой, затараторил, вращая глазами и руками. Видя, что я не понимаю, он жестом пригласил меня итти за ним. Оказалось, что Риццони действительно там жил, но теперь переехал на другую квартиру по той же улице, через два дома от прежней. Привратник проводил меня до самой двери. Постучал. Отворил сам Александр Антонович Риццони, пожилой господин лет 50. Попросил войти. Называю себя и рассказываю о своем приключении. Риццони слушает. „Отчего же это не было в газетах?“ вдруг спрашивает он. Кровь бросилась мне в голову, и слезы подступили к глазам. Я успела сдержать себя и стала, пробормотав что-то, прощаться.

— Подождите, подождите, — торопился исправить свою ошибку Риццони.— Где же вы остановились?

— В гостинице.

— Да ведь это дорого.

Я ушла домой в гостиницу. Не успела еще опомниться, как кто-то постучал. Это был Риццони.

— Одевайтесь, пойдем искать вам комнату.

— Да ведь у меня нет денег пока — робко возражаю я.

— Мы это уладим, подождут, меня здесь знают все.

Идем и очень скоро находим здесь же в № 123. Комнату нам показала молодая, очень хорошенькая итальянка, которая жила со стариком отцом. Она отдавала две комнаты, светлые, с окнами на улицу Via Sistina и очень дешево сравнительно с петербургскими ценами. Мне очень понравились и комнаты и хозяйка. Сам Риццони перенес мне саквояж из гостиницы, затем повел меня в ресторан на Corso, где за особым столом обедали русские художники. Там были братья Сведомские, Павел и Александр Александровичи, Котарбинский, гр. Соллогуб и другие. Риццони познакомил меня со всеми. Скоро мы с Риццони поехали и за багажом. Отдавая мой кофр, железнодорожный служитель обратил наше внимание на замок. От сотрясения в дороге, буквы стали сами собой на слово Roma, и замок открылся. Риццони очень взволновался, особенно когда узнал, что у меня там был и пакетик с золотыми деньгами. Но решительно все было цело, даже пакетик. А немка говорила, что все итальянцы разбойники.

Теперь я могла представить всем моим новым друзьям рекомендательные письма: и Риццони и Сведомским, но они им были уже не нужны.

Так хорошо было в моей маленькой квартире в семье Baroncelli, и я была не одна. Дочь Энрикетта, занимаясь только своим небольшим хозяйствои и имея много свободного времени, охотно уделяла его мне; я начинала уже понимать итальянский язык и об'ясняться на нем сама. Обстановка была довольно уютная. Окна моих двух комнат выходили на Via Sistina. Одно было плохо — это отсутствие печей. Днем открывались окна, и комната нагревалась солнцем, но ночью и утром было нестерпимо холодно и вставать — настоящая пытка. Я просила будить меня в 8 часов. Энрикетта и будила, но из-за холода я долго не могла вылезти из постели, а кофе она приготовила уже и ждет меня. Я все еще не наберусь смелости расстаться с теплом под одеялом. Наконец она крикнет: „Signorina, una lettera per lei“.[1]) Тогда я быстро вскакивала

[1]) Синьора, письмо для вас.

и не сердилась на обман — надо же было как-нибудь меня поднять. Отпив кофе, болтая с итальянкой, я надевала платье и шляпу, купленную в Риме с широкими полями и страусовым белым пером, убеждалась перед зеркалом, что она мне идет, и с Бедекером, завернутым в белую бумагу, чтобы красный переплет книги не кричал о том, что я иностранка, отправлялась на осмотр и изучение музеев, дворцов, храмов и развалин. Каждый день давал новые откровения, и я все больше и больше проникалась величием человеческого творчества. Приятно усталая, шла обедать в ресторан, где обычная русская компания была уже на месте. После обеда засиживались. Я понемногу входила в римскую жизнь наших художников. Все было мне ново и интересно. Риццони, римский старожил, был всех старше и серьезнее, глядел хмуро, был ворчлив, но доброе выражение его глаз выдавало его истинный характер. Я часто заходила к нему в мастерскую, которая была очень близко от моей квартиры, и всегда заставала его за работой над своими очень известными картинами из итальянской жизни. Он рекомендовал мне очень хорошие модели. Я их видела и на улицах, даже из моего окна, против которого у входа в церковь, они стояли группами в ожидании приглашения. Тут были старики, старушки, девушки, женщины с детьми всех возрастов, в итальянских костюмах, в привычных, несколько искусственных позах, точно только что вышли из рамы картины. Помню красавца натурщика без одной ноги, с черными кудрявыми волосами ниже пояса, с него писали Христа и святых. Но самый большой рынок моделей был на Piazza d'Espagna недалеко от меня. Рекомендация Риццони была нужна потому, что между моделями были разные люди. Риццони был моим главным руководителем в Риме. Я ему бесконечно признательна.

Братья Сведомские имели огромную мастерскую. Павел Александрович писал обыкновенно очень большие картины, пожар Москвы, например, для Третьякова. В то время он оканчивал „Юлия на Капри". Живописи он учился в Германии. Брат его, Александр, писал пейзажи с улиц и уголков итальянских городов. Оба были уже не молодые люди, изредка ездили в Россию, где у них было огромное имение в Пермской губернии.

Котарбинский в то время был настоящий художник богемы он имел маленькую мастерскую, кажется бедствовал, но наслаждался жизнью. Впоследствии он был приглашен Праховым вместе со Сведомскими для работ в Киевском соборе, стал входить в известность и разбогател. Его картины в огромном числе стали появляться на наших выставках в Академии Художеств. Их было так много, что приходилось отводить для них отдельный зал.

Гр. Соллогуб старался тоже поддерживать стиль богемы, но это был маскарад. Скоро он мне передал приглашение от своей жены. Она была москвичка, знала нашу начальницу гимназии кж. Е. С. Горчакову и многих моих подруг. У нее было две маленьких дочки 9 и 6 лет. Мне было очень приятно бывать иногда в семейной обстановке. Соллогубы занимали отдельный домик с садиком; они знали всю русскую колонию в Риме. У них я познакомилась с Семирадским, который тогда уже прославился своей картиной „Светочи Нерона". По вечерам, по совету Риццони, я стала ходить в Академию Джиджи (свободная студия), где ставили натуру, и все могли работать за небольшую плату. Я очень была рада такой возможности. Самая смешанная публика была там. Знаменитые художники и начинающие мальчики, несколько американок и англичанок. Забавный обычай соблюдался в мастерской. Каждый новый член при поступлении должен был угостить коллег по студии. Но при этом разыгрывалась такая сцена. Кто-нибудь начинал громко задевать новичка:— „Новый член, кажется, не очень догадлив".— Член должен был подождать — дать развиться сцене. „Да, верно, он витает в облаках, забыв, что топчется по земле". „Подождите, вот мы его стащим с облаков", и т. д.

Распоряжение давно сделано, и в самый эффектный момент, опытный служитель приносит на подносе угощенье — вино и бисквиты. Тут все приветствуют нового члена аплодисментами и криками, чокаются, пьют, и новый член считается принятым.

Меня предупредили, и я тоже все это проделала. Но меня не предупредили, что́ делать, когда на занятом мною месте оказывались цветы. Это случалось часто.

В студию Джиджи приходили и знаменитые испанские художники: Прадилла, Виллегос, Хернандец, Карбонеро и другие.

Прадилла подошел как-то посмотреть мой этюд, выразил удивление, что я так серьезно работаю, и пригласил посетить его мастерскую. Конечно, я не заставила себя ждать. Он писал тогда свою знаменитую „Иоанну Безумную", которая находится в музее Мадрида. Мы с ним много говорили. Я не могла скрыть своего искреннего восхищения его картиной, которая была почти окончена. Вся фигура королевы и ее безумный взгляд, устремленный на труп мужа, написаны с поразительной силой. Прадилла дал мне письмо к своим товарищам для посещения их мастерских. Я успела еще быть у Карбонеро, Хернандеца и Виллегоса.

Карбонеро, совсем молодой художник, писал в своей простой мастерской, прямо на полу, а по картине гуляли голуби. Он писал своего „Дон-Кихота", имевшего огромный успех на выставке в Мюнхене. Через несколько времени они очень серьезно и просто пригласили меня работать в их компании по вечерам у Виллегоса.

Их было человек семь, все знаменитые и известные художники. Конечно, это было для меня неожиданным счастьем, но к величайшей грусти я не успела этим воспользоваться. Дальше будет видно, почему.

Мои русские знакомые художники не любили серьезных театров, а я не ходила в кафе-шантаны. Но раз они меня убедили посмотреть национальный театр, где актеры играют экспромтом то, что они сами придумают тут же, совсем так, как мы когда-то играли детьми. Я не понимала еще итальянского языка, особенно жаргона, к которому они часто прибегали, но было пенье, танцы, и было забавно. Никаких особенных развлечений у меня тогда не было, но сам Рим был великолепным зрелищем. С наслаждением ходила я на Корсо и другие улицы, заглядывала и в глухие уголки. В то время жизнь в Риме была еще очень патриархальна, по характеру ближе ко времени Гоголя, чем к нашему, в чем я убедилась, побывав в Риме не так давно. Улицы Рима были полны цветов, фруктов, чучор[1]) и влюбленных молодых людей. Они откровенно ходили перед домами, где жили их дамы сердца,

[1]) Крестьянки в национальных итальянских костюмах.

и смотрели на их окна. На Корсо в одном месте, на небольшой площади, стояли они толпой, точно на бирже, высматривая проходящих дам, и следовали за той, которая их поразит. Преследования эти были только приятным времяпрепровождением, и если дама не поощряла, она была в полной безопасности. Вспоминаю одно приключение, характеризующее порядочного итальянца. Осматривая Рим по Бедекеру, я зашла очень далеко. Какой-то молодой человек вежливо подходит и, приподняв шляпу, вежливо говорит по-французски с итальянским акцентом: „Извините, m-lle, но вы не туда идете, если позволите, я вас провожу". Ничего не отвечая, иду своей дорогой. „M-lle, пожалуйста не принимайте меня за негодяя, я вас уверяю, что вы удаляетесь от центра и идете в опасный квартал. Если хотите, я не буду итти рядом с вами, пойду впереди вас и буду показывать вам дорогу, пока вы не выйдете в знакомые вам места". В его голосе было столько убедительности и порядочности, что я послушала. Он показывал дорогу, идя впереди, и дойдя до Корсо, вежливо приподняв шляпу, скрылся. Квартал, из которого он меня вывел, был действительно неблагополучен, как мне сказали русские знакомые. Мне пришлось все-таки познакомиться с этим итальянцем у кого-то из наших художников. Он был внук знаменитого архитектора Цуккари, имя которого написано вместе с другими на здании музея Штиглица в Петербурге. Мой новый знакомый Энрико Цуккари был старшим сыном в семье. Они жили в своем доме около Пинчио. Дом их, построенный знаменитым дедом, внутри весь покрыт фресками его же работы. Энрико Цуккари оказался очень симпатичным человеком; он знавал многих русских, живших в разное время в Риме, и прекрасно ко мне относился. Он предложил мне давать уроки итальянского языка в обмен на русский, которые давала ему я, и посвящал в римскую жизнь; у него были сестры, с которыми он собирался меня познакомить, и ждал только удобного случая, приносил билеты на такие спектакли, на которые нельзя было получить без особой протекции, и всегда оставался джентльменом, в полном смысле слова[1]).

[1]) Цуккари, как мне сообщили, года через два, катаясь верхом, был разбит лошадью и умер.

Приближался карнавал. К нему уже все готовились. Художники принимали участие в шествии по Корсо. Они группами, по национально тям придумывали, чем удивить и быть первыми по изобретательности и вкусу. Сведомские обещали взять ложу на Корсо; сами они видели много раз, но им интересно было показать и мне.

Раз, когда я рисовала в Академии Джиджи, подошла ко мне Равот, одна из художниц, работавших там, и попросила позволения представить мне какого-то художника, у которого есть ко мне дело; подходит и сам художник—немец. Он представился, как распорядитель по устройству бала группы итальяно-немецкой. Бал этот предполагали дать в зале Данте. Он начнется живой картиной „Dornröschen", подробности уже все обдуманы, и он просит меня позировать для „Dornröschen". Думая меня заинтересовать, прибавляет, что ожидают послов. Смотрю растерянно на Равот. Та, поддерживая художника, говорит, что тип мой очень подходит, и что она советует мне не отказываться, что ее дочь также будет участвовать на этом вечере в немецких танцах. Соглашаюсь и благодарю.

Сведомские исполнили свое обещание—ложу взяли, и я наслаждалась за всех. Сражались и с конфетти и с цветами. Любовались процессиями. Французские художники устроили великолепную колесницу с фигурами, одетыми в белые костюмы в стиле Людовика XV. Костюмы, колесница, лошади—все было белое с золотой отделкой. Группы людей на колеснице и провожавшие шествие, все были одеты с присущим французам вкусом и с французской же грацией выполняли свои роли.

Испанцы устроили восточное шествие. В центре группы в главной колеснице лежала красивая женщина в восточном костюме, окруженная рабами и рабынями; колесницу сопровождало шествие народов Востока в великолепных костюмах, под звуки восточной музыки. Американцы устроили гигантского крокодила длиной в целый квартал, это было сделано очень искусно и забавно.

К концу дня были Corso di gali—бег лошадей. Выпущенные из темного помещения, в котором их держали несколько дней, без сбруи, только на шее бубенчики с колючками, лошадей

пускали на Корсо. Испытывая все время уколы, несчастные лошади мчались буквально как бешеные, с такой невероятной быстротой, что незаметно было, как они касались земли [1]).

Целую неделю по программе менялись игры и зрелища. В последний день карнавала устраивали сожжение его. Гигантская соломенная фигура сидела на высокой колеснице. Голова ее беспомощно качалась во все стороны. Ее везли по Корсо на площадь и там сжигали. Кажется, это было и символом уничтожения языческого мира [2])

Во время карнавала весь город представлял праздничный вид. Днем и ночью ходили по улицам почти все в масках и костюмах. В эти дни можно было со всеми заговаривать и шутить, входили в театры, которые были все открыты и обращены в залы для публики. Тут Цуккари был незаменим. Как римлянин, он знал до тонкости все и всех и был идеальным проводником. Римская толпа изумляла иностранцев своей культурностью. Целые дни и ночи иметь возможность ходить в масках и костюмах, при очень небольшом составе милиции и сохранить везде порядок и благопристойность — ни грабежей, ни обид, ни пьянства.

Состоялся и бал в зале Данте. Меня предупредили за несколько дней и назначили несколько репетиций. В назначенный день Работ с дочерью явились за мной, чтобы ехать вместе.

Костюм у меня был германский средневековый, совсем белый, волосы заплетены в две косы, и на голове венок из бутонов моховых роз, который приготовили распорядители.

Бал начался живой картиной. Сцена была разделена на три части огромными пылающими факелами. В средней части трон с королем, королевой и придворными, с правой стороны кухня с пылающим очагом, с поваром, дающим пощечину поваренку, и другими слугами. С левой стороны башня. У окна, обвитого вьющимися розами, сидит за прялкой Dornröschen, т.-е. я. Взят тот момент, когда весь замок погружен в сон чарами колдуньи.

Музыка играет средневековую тихую, тихую мелодию. Начинается пантомима. Появляется принц (в подлинном средне-

[1]) Вскоре это корсо di gali было отменено, как нечто варварское.

[2]) Тоже отменено теперь.

вековом костюме), идет, пробирается, изображая изумление картиной погруженных в сон обитателей замка. Подходит к Dornröschen, изображает волнение и целует ее.

Я изображаю медленное пробуждение, просыпаюсь, удивленно глядя вокруг себя и на принца. Принц подает мне руку, и мы по ступеням сходим в зал, за нами проснувшиеся король, королева, придворные и вся кухня. Музыка играет торжественный марш, и мы нашим шествием открываем бал под приятный шум аплодисментов.

Ни одного знакомого лица и звука. Я участвую в чужой жизни, в другом мире — фантастично и дивно.

V

Заграницей с Д. И. Менделеевым

Дмитрий Иванович, проводив меня, затосковал. Его друзья А. Н. Бекетов, Иностранцев и другие стали беспокоиться. Состояние духа Дмитрия Ивановича сказывалось в его работах и разговорах. Он написал завещанье, собрал все письма за 4 года, писанные ко мне. В своем завещании он просил после его смерти передать их мне. Сам решил ехать на с'езд в Алжир. Дальше передаю с его слов. „По дороге я хотел упасть с палубы парохода в море". Этого он, конечно, никому никогда не сказал, но Бекетов и другие сами заметили его состояние. Ни для кого не было тайной его отношение ко мне. Друзья его, профессора Бекетов, Иностранцев, Краевич, Докучаев и другие поняли, что отпустить его одного в таком состоянии нельзя и, собрав совет, решили отправиться к жене Дмитрия Ивановича и убедить ее дать развод, который до сих пор она не соглашалась дать, указав на опасное состояние его духа и здоровья. Цель была достигнута. Они получили согласие на развод и немедленно известили о том Дмитрия Ивановича. Он немедленно же передал дело о разводе присяжному поверенному Головину, который повел его так энергично, что оно скоро должно было окончиться.

Дмитрий Иванович уехал, но не в Алжир, а в Рим и неожиданно явился ко мне (в апреле 1881 г.) в таком состоянии, что надо было или его спасать или им пожертвовать. Долгая трудовая жизнь без личного счастья, четыре года борьбы за него — я согласилась быть его женой и мы уехали из Рима вместе. Я даже не успела ни с кем проститься.

Отцу я написала о своем решении и о разводе, предоставив ему осторожно приготовить мать к этой для нее неожиданной вести.

Рассказ Дмитрия Ивановича о первой женитьбе

Дмитрий Иванович, после окончания курса в Педагогическом институте, был послан за границу. Возвратясь оттуда и получив место в Технологическом институте, определенно решил посвятить себя науке. Сестра его, Ольга Ивановна Басаргина (жена декабриста Басаргина), жила в это время, после возвращения из ссылки в Сибирь мужа, в Петербурге. Не имея детей, она больше других сестер обращала внимание на младшего брата Дмитрия; поговорив с ним и узнав об его планах на будущее, она посоветовала ему устроить семейную жизнь — жениться. На возражения Дмитрия Ивановича, что он решительно никого не имеет в виду,— единственная девушка, которая ему когда-то нравилась, уже замужем,— Ольга Ивановна сказала, что у нее есть для него хорошая невеста, подходящая во всех отношениях, она знала ее еще в Сибири — это Феозва Никитична Лещева, правда, она старше его лет на шесть, но это ничего; она знала примеры счастливых супружеств и с бо́льшей разницей лет. Она прибавила, что умерла бы спокойно, если бы этот брак состоялся. Она познакомила брата с Ф. Н. Лещевой, и скоро он сделал ей предложение. Через некоторое время Дмитрий Иванович писал сестре в Москву, уехавшей туда по делам, что он не знает, как ему быть: чем больше он сближается со своей невестой, тем больше чувствует, что у него нет к ней тех чувств, которые должен иметь жених. На это он получил от своей сестры ответ длинный и убедительный: она писала ему о своей собственной жизни: „Знай, Дмитрий, я была два раза замужем. В первый раз за пожилым человеком Медведевым, а второй раз по страстной любви за Басаргиным. Тебе первому и единственному скажу откровенно, что счастлива я была в первый раз с Медведевым. Вспомни еще, что великий Гёте сказал: „нет больше греха, как обмануть девушку“. Ты помолвлен, об'явлен женихом; в каком положении будет она, если ты теперь откажешься.“

Брак состоялся. От него было двое детей — Владимир и Ольга. После рождения последней фактически брак перестал существовать.

Мы поехали в Неаполь, потом на Капри, чтобы обсудить наше положение. В Риме было слишком много знакомых, а нам было не до них. Дмитрий Иванович предложил так: пока дело о разводе идет, поехать на Волгу, на нефтяной завод Рагозина, куда его давно приглашали, обещая устроить и лабораторию, так как знали его интерес к нефтяному делу. Теперь это приглашение было кстати. Надо было подумать и о заработке. По условиям развода требовалось все университетское жалование отдавать Феозве Никитичне. Дмитрию Ивановичу оставался только доход от „Основ Химии", на который мы долго жили, и который он и завещал моим детям. Других средств у него в то время не было, а предстоял еще значительный расход на развод. Дмитрий Иванович написал о своем приезде В. И. Рагозину. До лета нам оставалось еще полтора месяца, и он захотел показать мне Париж и Испанию, в которой и сам еще не был. Прожив несколько времени на Капри, мы поехали в Париж.

После беглого обзора города, т.-е. главным образом его музеев и исторических зданий, но, конечно, побывав и в магазинах „A Bon Marche" и в „Лувре", отправились в Испанию. Мы приехали в Севилью на страстной неделе и по совету наших случайных спутниц по железной дороге, испанок, пошли в собор, где во время вечерней службы должны были исполнить Stabat Mater. Очень усталые, мы все-таки пошли в знаменитый Севильский собор, окруженный апельсинной рощей, которая была в цвету. Севильский собор самый большой в Европе и прекрасен по архитектуре, но он всем известен по описаниям и репродукциям. Служба уже началась, когда мы пришли. Собор был слабо освещен, вероятно, по случаю поста. Севильцы и севильянки медленно двигались по собору, как бы гуляли. Пользуясь простотой нравов и сумраком, мы сели на пьедестал одной из гигантских колонн, созерцали и слушали прекрасное пенье и орган. Особенно хорош был солист тенор. Но я не устояла, прилегла на пьедестал и

уснула; в полусне и когда просыпалась, слышала все ту же дивную мелодию, и дремота еще больше способствовала фантастичности впечатления.

На другой день нам пришлось видеть редкое зрелище, на которое иностранцы приезжают издалека и которое бывает только раз в году, на страстной неделе. Вся жизнь Иисуса Христа представляется в картинах, в картонных фигурах в натуральную величину, раскрашенных и одетых в настоящие платья. Группа этих огромных кукол, изображающих Иисуса Христа и главных лиц из Евангелия, в подходящих костюмах и позах поставлены на платформах; их на головах несут спрятанные под длинной тканью, спускающейся до земли, солдаты, под звуки очень популярного, известного и у нас, болеро. Невидимые под платформами, солдаты идут в такт музыки, и это движение в такт передается фигурам, что очень странно. Таких групп из больших кукол очень много — все главные моменты жизни Иисуса Христа с рождения до распятия. Центральная группа изображает Мадонну, стоящую разодетой и разукрашенной; платье ее с длиннейшим треном, все украшено золотой вышивкой и каменьями. Впереди и сзади этих картонных групп шли солдаты, пешие и конные, в средневековых костюмах, а впереди всех инквизиторы в белых длинных костюмах, в черных остроконечных шапках, на лицах опущенные куски белой ткани с отверстиями для глаз. Дойдя до балкона мэра города, группы останавливаются, солдатам под платформу несут вино, они его пьют, и к великому соблазну иностранцев фигуры наклоняются вместе с солдатами, сделавшими поклон.

Желание Дмитрия Ивановича было проехать к Гибралтару и, может-быть, в Африку, но, во-первых, не было достаточно денег, а, во-вторых, я почувствовала себя не очень хорошо и мы поехали обратно. По дороге опять остановились в Мадриде. Его изумительные картинные галлереи, в которых я в первый раз поняла и преклонилась перед Веласкесом, мы осмотрели уже когда ехали вперед. На обратном пути пришлось посмотреть зрелище, на которое любознательные иностранцы стремятся со всех концов мира. Это было торжественное открытие сезона боя быков, в присутствии короля и королевской семьи. Билеты давным давно были разобраны, и мы с большим тру-

дом достали два, очень дорогих, от нашего хозяина отеля. Хотя я очень хорошо все помню, и много было театрально красивого, но описывать этот пережиток варварства нет желания. Но вот Дмитрия Ивановича стоит описать. Как только окончилось шествие всех участников боя, на лошадях, с красными флагами, пикадоров, мотодоров, бандерилья и других, и выпущен был первый бык (назначено было к убиению 8)— началась его травля, Дмитрий Иванович взволновался и, не будучи в состоянии сдержаться, по-русски возмущался и бранился. Мы встали, чтобы выйти, но это было не так-то легко. Цирк был переполнен, и мы достигли выхода с большими усилиями и не скоро, так что я, смотревшая все-таки по дороге на арену, видела все до конца, даже пляску мальчишек над замученным быком. Из Мадрида мы поехали в Толедо ради его удивительно прекрасного собора.

Осталась в памяти маленькая станция, на которой надо было пересаживаться на Толедо. Было это ночью часов в 11. Станция стоит одиноко в поле. Мы сели просто на ступенях лестницы лицом к степи. Яркие звезды, теплый ветерок, тишина нарушавшаяся только треском кузнечиков, и вдруг вспомнилась мне такая же станция в степях, такой же ласковый ветерок там далеко, далеко. Ночная темнота дополняла иллюзию. Я сказала Дмитрию Ивановичу о своих думах, и вдруг нас обоих потянуло, захотелось домой в Россию. Но тут подошел кондуктор, сказал, что поезд сейчас придет — звонков в Испании нет. Настроение прервалось.

Из Толедо мы поехали в Биариц, где не было музеев и архитектуры, но был океан. Мы заняли помещение на самом берегу; во время прилива волны достигали нашего балкона. Биариц был пуст — не сезон. Мы провели там чудных 10 дней. После Биарица решили ехать домой. Очень короткая остановка в Петербурге, такая же в Москве и прямо на Волгу. Александра Владимировна Синегуб узнав, что мне предстоит до окончания развода очень уединенная жизнь, со свойственной ей добротой и благородством захотела ехать со мной, во-первых чтобы облегчить мне заботы по хозяйству: я была еще слишком неопытна, во-вторых, скрасить мое одиночество.

VI

В Петербурге. Художники передвижники

Нефтяной завод Рагозина в Ярославской губернии, между Ярославлем и Романовым-Борисоглебском, стоял на крутом правом берегу Волги. Кроме большого здания самого завода, было много разных небольших построек и деревянных домиков для служащих и в отдалении, на горе, огромный дом В. И. Рагозина, с садом, оранжереями, великолепным птичником.

В июле мы заняли один из домиков. Он стоял немного в стороне, был совсем новый, деревянный. В нем было пять небольших комнат с очень простой обстановкой и кухней. Мы с Александрой Владимировной устроили все очень уютно. Мы приносили из леса букеты цветов, ветвей и украшали ими наши простенькие уютные комнаты. С балкона открывался вид на Волгу.

На заводе было очень много народу. Сам В. И. Рагозин с семьей жил в своем огромном доме. Но мы там не бывали. Дмитрий Иванович был очень занят в своей лаборатории на заводе.[1]) Я все время была дома. Одиночество меня не томило. Воспоминания о прошлом и думы о настоящем, хозяй-

[1]) В 1876 году Дмитрий Иванович отправился в Пенсильванию для изучения условий добычи и переработки американской нефти и затем ездил несколько раз на Кавказ для возможного применения добытых в Америке данных к добыче и переработке нефти у нас. Свои наблюдения и исследования по нефти он опубликовал в целом ряде статей и отдельных сочинений. Из них укажем на следующие «Нефтяная промышленность в Пенсильвании и на Кавказе», 1887 г. „Где строить нефтяные заводы", „Бакинское нефтяное дело", 1886 г., „Мнение о Баку—Батумском нефтепроводе", 1885 г.

ство, прогулки, наброски в альбом не оставляли места скуке. В воспоминании осталась Италия, детская беспечность и свобода; здесь — глубокое сознание, что выполнено то, что надлежало выполнить — покорность высшему. Если это не так, то почему в душе такое успокоение. Мою сказочно прекрасную жизнь в Италии я променяла на скромную здесь, на Волге, а спокойствие души получила здесь, а не там. Александра Владимировна, устроив меня и узнав, что скоро к нам приедет мой отец, уехала к себе в Малороссию, где давно ее ожидали родные.

Вскоре после отъезда Александры Владимировны приехал мой отец. Недели две мы были бесконечно счастливы нашим свиданием, но надвигалось страшное, неожиданное горе: у отца сделался удар — отнялся язык и слегка рука и нога. Не забуду горьких слез отца, когда он убедился, что не может владеть речью. На заводе был хороший доктор, а ходили за отцом мы с Дмитрием Ивановичем сами. По ночам дежурили по очереди; отец поправился, возвратилась речь, и он стал владеть рукой и ногой.

Приближалась осень. Дмитрию Ивановичу надо было ехать к началу лекций в Петербург. Моя мать должна была выехать в Москву, чтобы повидаться с отцом и ехать к сестре в Новочеркасск, а отца мы брали в Петербург, чтобы полечить как следует. Свидание наше произошло на вокзале. Мама была очень взволнована, крепко обняла меня, но Дмитрию Ивановичу руки не подала; она была верна своим убеждениям, но ей было очень тяжело. Дмитрий Иванович, отец и я очень страдали за нее.

В Петербург мы проехали в университетскую квартиру Дмитрия Ивановича, ту самую, в которой я в первый раз познакомилась с ним. Развод был окончен. Мы венчались в Адми-

Вопрос о свойстве нефти Дмитрий Иванович изучает не только с технической точки зрения, но и чисто научной. Так он разработал гипотезу происхождения нефти при взаимодействии воды и карбидов железа, существование которых необходимо предположить в глубоких недрах земли. Кроме того, он дал первый способ фракционировки нефти и показал, что американская нефть от кавказской отличается не только по составу, но и по результатам перегонки и физическим свойствам.

ралтейской церкви (январь 1882 г.). Шаферами были А. Н. Бекетов, проф. Иностранцев, проф. Докучаев и друг Дмитрия Ивановича еще по Педагогическому институту К. Д. Краевич (физик)[1]). Первый год был посвящен исключительно семейной жизни. Скоро родилась моя старшая дочь Люба (Л. Д. Блок), которую я кормила сама, несмотря на отговаривания моих знакомых дам.

Любе исполнился год. Я освоилась с моей новой жизнью, привыкла к обязанностям хозяйки. Определился круг наших знакомых. Капустины теперь относились ко мне совсем по-родственному. Временное охлаждение Надежды Яковлевны, недовольной моим отъездом от них, потом в Рим, исчезло безвозвратно. Все шло благополучно, но работать я не имела возможности. Бумаги мои были в Академии, я не взяла еще свой диплом, который давался после окончания научных экзаменов. В классы ходить я уже, конечно, не могла. С Академией было покончено. Дмитрий Иванович работал с энергией, но весь досуг он отдавал семье. Он задумал прочесть мне и старшему сыну от первого брака, Владимиру Дмитриевичу, химию. Володя был в это время в морском корпусе, где он жил, а на праздники приходил к нам. К нему приходили и его товарищи. Хорошо помню Крылова, по прозванию Езоп (теперь академик). Дмитрий Иванович позволил пригласить и его на лекции; слушал и еще один товарищ пасынка. В ближайшее воскресенье начались лекции. Я внимательно слушала и вела записки[2]). Было очень интересно, особенно опыты, но химиком я не сделалась, меня попрежнему тянуло к мольберту. Мне очень хотелось, чтобы возобновились среды. Дмитрий Иванович обратился к художникам, которые с радостью отозвались, и „среды“ воскресли. Они продолжались много лет и были свидетелями развития, процветания, а потом и начала увядания передвижников. Многие хранят о них хорошие, теплые воспоминания. По простоте обстановки, среды напоминали студенческие собрания: чай, горы бутербродов, красное вино, отсутствие светских дам (бывали только художницы), и все чувствовали себя легко и свободно.

[1]) Мать прислала свое благословение и обещала приехать к нам летом.

[2]) Пропали вместе с другими вещами в 1918 г.

Характер Дмитрия Ивановича лишал всякой возможности в его присутствии отдавать дань людским слабостям — пересудам, сплетням и прочее. Как всегда и везде, Дмитрий Иванович создавал высокую нравственную и умственную атмосферу.

Эти же художники собирались и у Репина, у Ярошенко, у Лемоха, но среды Дмитрия Ивановича носили свой особый характер — обывательские мелочи исчезали с горизонта.

Сам Дмитрий Иванович не имел времени посещать художников. Посещала их я, и думается мне, что художественный мир того времени был самым живым и содержательным. Свободная профессия делала их независимыми от разных кастовых и бюрократических рамок. Они свободно наблюдали жизнь, сталкиваясь с людьми разных слоев общества. Художник воспринимает и отражает мир в самых разнообразных проявлениях.

По субботам, готовая к выезду, одетая, я шла по длинным коридорам нашей квартиры в кабинет Дмитрия Ивановича проститься с ним. —„Ну что, на службу?“—шутит он.—„Смотри, не забудь взять Катерину“[1]). Без провожатых вечером я не выходила.

Морозный зимний вечер. Еду на санках к Ярошенко на Сергиевскую. Останавливаю извозчика у дома, где помещалось китайское посольство. Ярошенко жил на той же лестнице—наверху, в 4-м этаже. На лестнице всегда особый острый запах. Спрашиваю как-то швейцара: „Чем у вас всегда пахнет?“— „Китайцы крокодила жарят“ — мрачно отвечает он. Оказалось, это бобовое масло, необходимая принадлежность китайской кухни. Подымаюсь на самый верх. На площадках встречаются китаянки, грубо набеленные, нарумяненные, с затейливыми прическами, украшенными искусственными бумажными цветами, в роде тех, какими у нас украшают куличи.

Мария Павловна и Николай Александрович Ярошенки занимали небольшую, очень уютную квартиру. Единственную большую комнату занимала мастерская. Николай Александрович артиллерист, среднего роста, несколько худощавый, с копной черных с проседью волнистых волос, стоящих кверху.

[1]) Катерина наша горничная, жила у нас с первого года моего замужества. На моих и ее руках скончался Дмитрий Иванович, сама она скончалась в 1925 году.

Светлокарие глаза, небольшая черная борода, черты лица неправильные, но симпатичные. Трудно передать неуловимый, своеобразный духовный образ этого человека. Тонкий, чуткий, все понимающий, проницательный, спокойно, одним словом, полным юмора, он осветит все, как захочет. А хочет он всегда правды. Мягкий в движениях, он кремень духом, что впоследствии доказал, когда в вопросах Товарищества Передвижников он разошелся с лучшими друзьями и остался один.

В то время в Товариществе Передвижников было полное единение, и Николай Александрович был одним из самых прочных его столпов. Он был учеником Крамского. Дмитрия Ивановича он нежно любил, бывал у нас часто не только по средам, но и по другим дням. Он написал портрет Дмитрия Ивановича во весь рост за работой в кабинете (сейчас он висит передо мной). впоследствии (в 1888 г.) нашего сына Ваню—тоже по собственному же ланию. Он не ожидал, как мучительно писать с пятилетнего ребенка, и такого живого, каким был Ваня. Единственным средством усадить его было чтение. Читала я, помнится, русские сказки и не смела сделать передышку; только что хочу передохнуть, в тот же миг Ваня лежит уже вверх ногами или сидит верхом на спинке кресла, и измученный Ярошенко готовится бросить работу. Усаживаю разными уговорами опять моего сынишку и читаю, читаю до изнеможения. Портрет все же был окончен, замечен на выставке и может считаться одной из лучших работ Ярошенко. Ваня изображен во весь рост сидящим на кресле, в белой русской рубашке. После выставки Николай Александрович подарил его мне. Только теперь понимаю цену такого подарка. Тогда все переживалось по-детски просто. Глядя через окружающий сумрак в то далекое прошлое, поражаюсь яркости жизни и впечатлений, которые судьба щедро бросала на моем жизненном пути. Я не думала тогда, что это было „счастье“, не замечала его, как не замечают чистого воздуха.

Жена Николая Александровича, Мария Павловна, высокая полная брюнетка, была очень недюжинной личностью. Она была известной деятельницей вместе с Надеждой Васильевной Стасовой на Высших Женских курсах. В устройствах вечеров, всевозможных хлопотах о личных затруднениях курсисток Ма-

рия Павловна всегда была первая. Детей у них не было, потому она могла посвятить себя общественной деятельности. Она была старше Николая Александровича и относилась к нему с большой заботливостью.

Общество, которое у них собиралось, было очень разнообразно: художники, студенты, курсистки, доктора, общественные деятели, профессора, но все одного круга интеллигентных людей с либеральным образом мыслей. Я там встречала Владимира Соловьева, его сестру Поликсену Сергеевну, Владимира Васильевича Стасова, его сестру Надежду Васильевну, Плещеева, поэта, доктора Симоновского. Был у них и Л. Н. Толстой, когда приезжал провожать за границу Черткова. Жена Черткова, Анна Константиновна, урожденная Дитерихс, еще курсисткой бывала постоянной посетительницей суббот.

Кто раз побывал у Ярошенко в одну из суббот, делался постоянным их посетителем.

Светлый, либеральный образ мыслей, непоколебимая честность, прямота в словах и поступках заслужили Николаю Александровичу всеобщее уважение, а талантливость, юмор— всеобщую симпатию. Николай Александрович был нашим лучшим другом до конца своей жизни. Он приезжал к нам и в деревню Боблово, а я была у них в Кисловодске, где он впоследствии умер от паралича сердца.

Николай Александрович много работал. Сюжеты его картин были большей частью тенденциозны: „Тюрьма“ — угол сырой, темной одиночной камеры и арестант, по типу и фигуре политический, тянется взглянуть в окно. „Всюду жизнь“ — очень известная картина: окно вагона для арестантов с железной решеткой, через которое видны заключенные, между ними женщина с ребенком, протягивающим с улыбкой через решетку окна ручку—сыплет крошки голубям. Когда Николай Александрович не показывал нам еще неоконченную картину, я его както просила:

— Что вы пишете?

— „Мадонну“ — ответил он со свойственной ему тонкой улыбкой.

Студенты и курсистки часто служили ему моделями, а публика в их портретах всегда хотела видеть „политических“.

В портрете курсистки Н. А. Синегуб упорно видели Перовскую. Это вызвало такие разговоры, что портрет по распоряжению властей был снят с выставки.

Как и все на свете, субботы пережили свой расцвет и увядание. Во-первых, оттого, что Николай Александрович разошелся с товарищами: Куинджи, Репиным, Маковским и другими, поступившими в Академию, а во-вторых, потому, что здоровье его сильно пошатнулось, он потерял совсем голос и прожил недолго.

Он сильно страдал от разлада со своими товарищами. Суть была в следующем. После удаления Исеева из Академии, ректором был назначен Иван Иванович Толстой, задумавший произвести в Академии реформы. Он удалил старых профессоров и пригласил из Товарищества Передвижников. Ярошенко, враг всякого казенного учреждения для искусства, не пошел на это и боялся, что казенная служба наложит нежелательные цепи на свободных до тех пор художников. Он до конца остался верен себе и так и умер непримиримым. Вся драма его разрыва с товарищами происходила на наших глазах и даже отчасти в нашей квартире на средах. Не удалось и Дмитрию Ивановичу убедить и примирить их. Все это произошло много позднее, а когда я ездила „на службу", по выражению Дмитрия Ивановича, „субботы" были в полном расцвете, а Николай Александрович в полной силе.

Вторым местом моей „службы" были вторники у Лемоха. Они имели совсем другой характер. Здесь преобладал элемент семейный. Художники бывали здесь с женами и детьми. Бывали посетители, и не принадлежавшие к художественному кругу. Вторники походили на все петроградские журфиксы. У Кирилла Викентьевича Лемоха и его жены, Варвары Федоровны, была дочь подросток Варенька. Присутствие этой девочки настраивало к мирному и веселому времяпрепровождению. Часто играли в petits jeux как-будто для девочки, но в сущности и сами искренно забавлялись. Даже такие маститые художники, как Куинджи, Крамской принимали участие в играх, а про дам, особенно про меня, нечего и говорить,— я веселилась от души. Помню, как Иван Николаевич Крамской в какой-то игре прятался по разным закоулкам с таким видом, как будто от этого зависело спасенье его жизни.

У Лемоха отдыхали от работ, забот и всяких сложностей жизни, которых всегда так много. Приятно было просто повидаться с добрыми знакомыми. Для серьезных разговоров уходили в мастерскую Кирилла Викентьевича.

У Ильи Ефимовича Репина дни менялись и гости были не постоянные. Очень часто встречали кого-нибудь в первый и последний раз. В то время Илья Ефимович был далеко не старый человек. Семья его состояла из жены Веры Алексеевны, молодой, очень симпатичной женщины, трех дочерей и одного сына. Старшая дочь Вера была уже лет 14 (впоследствии артистка Александринского театра), сыну Юрию (впоследствии художник) было 9 лет. Вера Алексеевна, смуглая брюнетка, удивительно миниатюрная. Странно было видеть ее матерью таких взрослых детей. Она была живая, веселая и, мне казалось, очень подходила быть женой именно художника, настолько она была чужда всяких условностей.

Жили Репины у Калинкина моста, занимая очень большую, но неуютную квартиру. Начиная с хозяев, все там было своеобразно. Репин увлекался в то время каким-то гигиенистом и проводил в жизнь его правила. Спали они весь год — лето и зиму — с открытым окном, снег засыпал их кровати. На ночь они влезали в меховые мешки с отверстием только для лица. Влезали они в эти мешки в теплой комнате, еле двигаясь, шли в спальную и в мешках ложились в кровать.

Хозяин и хозяйка, дети тем более, держали себя очень непринужденно, что вызывало то же настроение и у гостей.

В большой мастерской Репина стоял огромный мольберт с большим холстом, очередной картиной, закрытой занавесью; до окончания картины она не показывалась. Иногда Илья Ефимович делал сюрприз — занавес снимался, и гости видели новое произведение Репина. Так я видела „Крестный ход", „Не ждали", „Чудо Николая Чудотворца" и другие. Никогда не забуду, как раз неожиданно Илья Ефимович пригласил нас в мастерскую. Осветив закрытую картину, он отдернул занавес. Перед нами было „Убиение Грозным сына". Долго все стояли молча, потом заговорили, бросились поздравлять Илью Ефимовича, жали руку, обнимали. Я все стояла, смотрела и молчала. Я слыхала много раз, что крайний реализм, кровь в картинах не надо изо-

бражать. В этой картине было много крови, но почему-то в талантливых произведениях даже нарушение закона кажется нужным, как, например, диссонансы в сонате Quasi una fantasia Бетховена.

Тут же стоял Гаршин, позировавший для сына Иоанна Грозного, и Мясоедов, служивший моделью для самого Грозного. Все понимали, что такая картина — событие.

Иногда Репин устраивал рисование. Кого-нибудь из гостей усаживали и рисовали; я всегда этому была рада. А иногда вдруг вздумает поставить живую картину. В мастерской было возвышение для натуры, в шкапах огромный запас костюмов. Раз захотел он поставить грешницу. Изображать ее должна была я. Светло-розовый шелковый кафтан, в котором он писал сына Иоанна Грозного, был надет на меня задом наперед и уколот в обтяжку по моей фигуре, волосы были распущены и украшены жемчугом и виноградом. Христа изображал Николай Никанорович Дубовской в белокуром парике; его худая, высокая фигура, мастерски задрапированная Репиным, была стильной. Толпу изображали некоторые гости и дети. Смотрел сам Репин. Он радовался, аплодировал и уверял, что главные фигуры в картине лучше, чем у Семирадского. На мясляной он устроил костюмированный вечер. Все должны были явиться в костюмах. Известили нас довольно поздно, на приготовление костюмов оставалось мало времени. Дмитрий Иванович, не бывавший на таких вечерах, меня все-таки отпустил, так как мне очень этого хотелось. Екатерина Андреевна Бекетова, старшая дочь Андрея Николаевича (поэтесса [1])) помогла мне устроить поскорее костюм. Отец ее был ректором, они тоже жили в университете, почему мы часто виделись. В день вечера она пришла сама одеть меня. Мы устроили костюм русалки или вернее морской царевны. На бледноголубой подкладке наколота была тюлевая, совсем свободная драпировка, подобранная и опоясанная много ниже пояса длинной травой разных оттенков с белыми цветами водяных лилий, желтыми кувшинками и незабудками, такой же венок был на голове и около выреза лифа; волосы совсем распущены. Пока я ходила в кабинет к Дмитрию Ивановичу

[1]) Тетка Александра Блока.

показаться и проститься, и в детскую — поцеловать Любу, Екатерина Андреевна написала стихи:

„Русалка милая, вчера передо мной
Стояла ты в причудливом наряде,
И с головы твоей роскошною волной
Сбегали на плечи волос блестящих пряди.
Ты кудри обвила зеленым тростником,
И незабудками, и белыми цветами,
И вся смущенная, поникнувши челом,
Смотрела на меня счастливыми глазами,
Стыдясь своей красы. И тем мила мне ты
Что эта пестрота воздушного наряда,
Все эти жемчуга, кораллы и цветы,
Надетые тобой на праздник маскарада
Русалочный убор — но не русалка ты.
Нет, чистое, как снег, беззлобное создание,
Об'ятия твои на гибель не манят,
И не сулят уста холодного лобзания,
Коварством не блестит твой чудный, ясный взгляд,
Ни вызова в нем нет, ни хитрого признанья...
Наряд тебе к лицу, и в нем ты хороша,
Но все ж сердца влечет к тебе неотразимо
Не вид волшебницы, а женщины душа
И сердце женщины любившей и любимой [1]).

Стихи эти я не успела у нее взять, она передала их Дмитрию Ивановичу.

Когда я приехала к Репиным, гостей было уже очень много, и веселье в разгаре. Там сидит комичный художник с огромным красным галстухом, в смешной шляпе за мольбертом с палитрой, с кистями и малует желающим их портреты, конечно, карикатуры. Это — Савицкий. Здесь ходит монастырский служка, гнусавя, напевая какие-то куплеты, это Максимов. Огромная мартышка бегает и пристает ко всем — Волков; польки, цыганки, хохлушки — сам Репин был типичным малороссом, жена его русской крестьянкой в повязке, маленькая дочка Таня — забавной обезьянкой; сын Юрий — запорожцем с настоящим чубом на затылке, который он давно уже себе отращивал. Клодт — чухонец; жена Крамского — чухонкой. Только Куинджи и Яро-

[1]) Стих. „Русалке. Посвящено А. И. Менделеевой" помещено в сборнике стихов Е. А. Бекетовой 1895 г.

шенко были в своих обыкновенных платьях. Вспоминаю этот вечер, как самый веселый, на каком когда-либо пришлось мне быть. Репин лихо отплясывал гопака, Клодт с Крамской — чухонский танец; Надежда Яковлевна, китаянка, подговорила заставить меня танцовать русскую. Я не заставила себя долго просить. Костюм был так хорош и легок, что я с особенным наслаждением и настроением протанцовала „мою" русскую. За это, кроме долгих и громких оваций, за ужином удостоили тоста, предложенного Репиным „за лучшую русскую".

Одним из столпов Товарищества Передвижников был также Иван Иванович Шишкин. Высокий, плечистый, с широкими скулами, маленькими глазами и ртом и целым лесом непокорных волос бороды и головы. Надо было написать его в лесу, „Шишкинском" лесу а не в поле, как написал его Крамской, лесной он человек. Вспоминая Ивана Ивановича, вижу всю его крупную фигуру, подробности его лица, помню даже его шапку, но не помню его разговора. Молчалив он не был, но ускользнуло от меня содержание его речей, разве только когда он говорил о технике живописи и бранил немцев. Он довольно долго жил в Германии, но по-немецки так и не научился говорить. Рассказывали анекдот, случившийся с ним в Германии в каком-то ресторане. Он учинил буйство, в азарте дал волю рукам и был привлечен к ответственности. На суд явилась целая толпа пострадавших с подвязанными глазами, щеками, руками. Судья долго не мог понять, что это жертвы одного и того же человека.

Школа его все-таки немецкая. Он требовал изучать детали каждой травки, каждого кустика. Учеников зимой заставлял рисовать с хороших фотографий, иногда с волшебным фонарем. Типичные для такой школы рисунки дала его ученица, впоследствии жена, Ольга Антоновна Лагода-Шишкина. Позднее Шишкин был профессором Академии Художеств в одно время с Куинджи.

В группе художников выделялся оригинальностью Архип Иванович Куинджи. Всей душой любивший, кроме своего искусства, товарищей, он был постоянным посетителем кружковых собраний и деловых, и семейных.

Я познакомилась с Архипом Ивановичем, когда была еще ученицей Академии Художеств и жила у сестры Дмитрия Ивановича

Помню, Дмитрий Иванович пришел к нам как-то необыкновенно оживленный и предложил итти в мастерскую Куинджи смотреть его новую картину: „Ночь на Днепре". Сам он уже видел и был в неописуемом восторге. Мы быстро оделись и отправились с Дмитрием Ивановичем на Малый проспект Васильевского острова, где жил Куинджи. Приехали, забрались на самый верх углового, ничем не замечательного снаружи, дома, позвонили. Нам открыла дверь средних лет дама; она шопотом просила нас пройти в гостиную и подождать, так как в мастерской был великий князь Константин Константинович, приехавший также смотреть картину. На ходу снимая передник (видно было — занималась хозяйством), дама, оказавшаяся женой Куинджи, ввела нас в небольшую комнату, меблированную до крайности просто: коричневый диван, таких же два кресла, несколько стульев, перед диваном стол, и больше ничего; только роскошный плющ вился вокруг окна, образуя густую зеленую раму, и перебрасывался далеко по стенам. Мне это очень понравилось. Усадив нас, жена Архипа Ивановича стала нам подробно рассказывать, все шопотом, о посещении великого князя. Вдруг раздался громкий, могучий баритон: „Да где же он? Да куда же он?" Двери распахнулись, и появился сам Архип Иванович Куинджи. Перед нами стоял человек небольшого роста, но крупный, плотный, плечистый; его большая красивая голова, с черной шапкой длинных волнистых волос и курчавой бородой, с карими блестящими глазами, походила на голову Зевеса. Одет он был совсем по-домашнему в поношенный серый пиджак, из которого как-будто вырос. Напрасно мы шептались; Архип Иванович громко восклицал и тащил нас в мастерскую, где он оставил великого князя; введя туда, он просто назвал нас великому князю. В первую минуту я совсем смутилась и немудрено — я стояла перед „Ночью на Днепре" и в обществе, которое могло бы смутить и не шестнадцатилетнюю ученицу Академии Художеств, только что приехавшую из своих донских степей.

Великий князь оставался несколько минут. После его от'езда мы долго сидели перед картиной, слушая Дмитрия Ивановича, который говорил о пейзаже вообще.

„Меня давно уже,— говорил он,— занимает вопрос о причине влияния пейзажа на зрителя именно теперь, в наше время.

В древности ведь пейзаж не был в почете. Даже в XVI веке пейзаж если и был, то служил рамкой: тогда вдохновлялись человеком, тогда поклонялись уму людскому. В науке это выразилось тем, что ее венцом служили математика, логика, метафизика, политика. В искусстве художников вдохновлял только человеческий образ. Конечно, я говорю не против математики и классической живописи, а за пейзаж, которому в старину не было места. Но позднее, когда разуверились в самобытной силе человеческого разума и в том, что верный путь к истине можно найти, только углубляясь в самих себя, становясь метафизиком, поняли, что, изучая природу, станут лучше понимать и себя, потому что к внешнему можно отнестись беспристрастнее. Стали изучать природу, родилось естествознание, которого не знали ни древние века, ни эпоха возрождения.

„Наблюдение и опыт, индукция, покорность неизбежному скоро оказались сильней и плодотворней чисто абстрактного мышления, более доступного и легкого, но нетвердого и поминутно сбивающегося с верной дороги на сомнительную. Пришлось из своего величия потерять кое-что, выигрывая в правде и силе. Природа стала не рабой, не рамкой, а подругой, и мертвая, бесчувственная, она ожила в глазах человека. Началось движение. Венцом знания стали науки индуктивные, помирившие математику и метафизику с покорным наблюдением природы.

„Одновременно, если не раньше, с этой переменой в строе познания родился пейзаж. И век этот когда-нибудь будут характеризовать появлением естествознания и пейзажа в искусстве. Оба черпают из природы, вне человека; старое не умерло, не брошено и не забыто, а новое родилось и усложнило число понятий, упростив и уяснив понимание прежнего. Бесконечное, высшее, разумнейшее, божественное и вдохновляющее нашлось вне человека, в понимании, изучении и изображении природы. Самопознание от этого возросло. Как естествознанию принадлежит в близком будущем высшее развитие, так и пейзажной живописи между другими родами искусств. Человек не потерян, как об'ект изучений и художества, но он является теперь не как владыка, а как единица в числе.

„Все это — продолжал Дмитрий Иванович,— я напишу, и так как эти мысли явились мне тут у вас, то я и назову статью: „Перед картиной Куинджи".

Статья эта была написана и помещена в газете „Голос" (1880, № 314) того времени.

После нашего посещения мастерской Куинджи я видела его вместе с другими художниками, как уже говорила, на „средах" у Дмитрия Ивановича.

Летом мы жили обыкновенно в нашем подмосковном имении Боблово, куда приезжал Архип Иванович по приглашению Дмитрия Ивановича. Это было в эпоху полного расцвета таланта Куинджи; он вышел уже из Товарищества Передвижников, выставлял отдельно и имел колоссальный, небывалый успех. Приехал он к нам утомленный и работой и успехом; он не писал у нас; ему, видно, было приятно отдохнуть и забыть все свои дела. Часто часами лежал он на траве под огромным старым дубом, который погиб совсем недавно. Гостила у нас тогда еще Е. П. Михальцева, ученица Крамского.

Раз, в один из теплых лунных вечеров, Михальцева, Архип Иванович и я сидели на террасе, Дмитрий Иванович, который работал и летом, писал что-то у себя наверху. Архип Иванович сидел на ступеньках лестницы, ведущей в сад, молча, задумчиво. Ночь была так хороша, мы перебрасывались короткими фразами, почти шопотом, как будто боялись вспугнуть охватившее всех настроение. Сначала Архип Иванович отвечал на наши вопросы кратко, но понемногу увлекся своими воспоминаниями. Вот что он рассказал нам тогда:

— Моя фамилия Шаповалов. Куинджи или Куюмджи назывались мои предки; слово это турецкое и означает — золотых дел мастер. Родился я в Мариуполе, в бедной семье; рисовать любил с детства, музыку тоже любил и сам научился играть на скрипке. Сложись иначе обстоятельства, я был бы музыкантом. В 20 лет я решил заняться живописью. Узнав, что есть знаменитый художник Айвазовский, живущий в Феодосии в Крыму, я, скопив немного денег, отправился к нему. Приехав в Феодосию и отыскав дом Айвазовского, я узнал, что он уехал. Сообщил это мне один из его учеников и предложил,

в ожидании учителя, сделать копию с одной из его картин. Копию я сделал, но Айвазовского так и не дождался. Не знаю, почему меня называют его учеником: я у него не учился никогда, а сделанная в его отсутствие копия все, что я у него взял. Я не стал его ждать; был уже не мальчик, понимал, что время терять в мои годы нельзя. Желанье учиться у меня было горячее и твердое, и я рискнул ехать в Петербург, где никого не знал и был почти без денег.

Первое время в Петербурге я нуждался так, что не имел средств купить даже чаю и пил один кипяток без сахара, с черствым хлебом, но никогда, ни разу, я не просил помощи; ни разу за всю мою жизнь я не получил ничего ни из „Общества поощрения художеств", ни от какого другого, и ни от кого.

Перебившись кое-как зиму, весной я решил держать экзамен в Академию Художеств и в то же время послал картину на Академическую выставку. Оказалось, что картина моя на выставку принята, ну, а на экзамене в классах я провалился. Картина моя была похвалена в газетах, куплена, и я стал тверже на ноги. С тех пор я стал выставлять мои картины, и, к счастью, они всегда продавались. Трудиться мне приходилось много, я ведь не учился в юности, приходилось кое-как пополнять пробелы, хватать все на лету и в то же время зарабатывать на жизнь. Я был уже женат.

Скоро я сошелся с передвижниками: Крамским, Репиным, позднее с Ярошенко. Хорошее это было время. Все еще молодые, талантливые, полные веры в себя, в искусство и в будущее, они приняли меня в свою среду. Так продолжалось несколько лет, однообразно с внешней стороны и кипуче-напряженно с внутренней — я ведь формировался тогда, рос, достигал. Крупным для меня событием был мой выход из Товарищества Передвижников. Произошло это таким образом.

Как-то раз на нашей выставке я устраивал и поправлял кое-что сзади моей картины. Вдруг слышу (я был невидим говорившему) М. К. Клодт с целой толпой своих учеников стоит перед моей картиной, читает целую лекцию, беспощадно ее критикует, смеется и советует им так не писать, и все это громко, в присутствии публики. Я вышел к нему, произошла



Д. И. Менделеев А. И. Менделеева А. И. Куинджи

ссора. Я чувствовал себя оскорбленным и считал, что Клодт поступил грубо, не по-товарищески. На ближайшем собрании товарищей я заявил, что не останусь с Клодтом: или он, или я. Видя, что в собрании происходит какая-то заминка, я сказал, что выхожу. Клодт также скоро вышел: разрыв мой с передвижниками был только внешний. Я остался попрежнему их другом, ходил на все собрания, мои советы выслушивались и часто принимались; все было так, как будто я и не выходил. Сделал все так я сгоряча, не подумав даже, как это отзовется на моих делах; правда, беспомощным я тогда уже не был, знал, что не пропаду и один, но все же того успеха, какой выпал на мою долю, когда я выставил один, я не предвидел. Я от него больше устал, чем от самой тяжелой работы.

Наша дружба с Куинджи продолжалась до конца жизни Архипа Ивановича. Мы знали все, что с ним происходило,— его мысли, планы. Кроме сред, Архип Иванович заходил и в другие дни, а когда переживал что-нибудь, то и несколько раз в день. Часто он играл с Дмитрием Ивановичем в шахматы. Я любила следить за их нервной, всегда интересной игрой, но еще больше любила, когда они оставляли шахматы для разговора. Часто я спрашивала Архипа Ивановича о живописи: „Пишите просто, как видите,— говорил он,— не бойтесь, что будет черно и вообще не мудрите. По правде сказать, я больше люблю и доверяю самым неопытным, начинающим художникам, чем мастерам, которые уже выработали манеру и пишут по известным правилам. Искренность в художнике самое дорогое".

На мой вопрос, надо ли делать для развития техники копии, он сказал, что в некоторых случаях полезно и раз даже сам принес свою копию с Деннера „Старик с черепом", рекомендуя мне ее скопировать, так как я не могла уходить из дома, чтобы работать в Эрмитаже. Сам он делал этюды различно, то заканчивал, как картину, то набрасывал одному ему понятными пятнами, а иногда цифрами. Много лет спустя после этого, совсем недавно, в Париже я слышала от знаменитого Менара, что он также делает свои pochades цифрами, и он об'яснял своим ученикам, как именно это делать. Басня о цвет-

ных стеклах, к которым будто бы прибегал Архип Иванович для изображения лунного света, создалась вероятно оттого, что стекла у Архипа Ивановича действительно были, но он употреблял их не для цвета, а для светотени: через цветные стекла видней полутона. Много также неверного говорят о происхождении его состояния. Начало его положено живописью.

Архип Иванович писал по одной картине в год и всегда продавал их; часто его просили делать повторения, что он и выполнял иногда, но требований было так много, что он не успел бы их выполнить все. Это дало ему мысль издать олеографии. Он говорил, что получил от них много дохода. Тут как-то предложили купить имение в Крыму случайно и недорого, и он мог уже себе это позволить. Море он страстно любил и все мечтал устроить по берегу его колонии своих друзей, предлагая им даром, а кто не захочет даром, то по очень дешевой цене землю, только чтоб строились и жили. Это не удалось по разным причинам. Именье, не принося ему дохода, служило ему местом отдыха и успокоения после бесчисленных огорчений.

Архип Иванович был доверчив, привязчив и, конечно, терпел жестокие разочарования, болел сердцем и душой. Раз Николай Александрович Ярошенко, заехав как-то по дороге на Кавказ к нам в Боблово, рассказал, что с Куинджи, которого мы только что оставили в Петербурге совершенно здоровым, происходит что-то странное: он болен, никого не хочет видеть, лечиться отказывается и на все уговоры друзей обратиться к доктору, говорит, что если только приведут его к нему, то он будет стрелять, что себя он знает и что делать, также знает. Пришлось отступить. А Куинджи заказал в Финляндии крошечный, досчатый, складной домик и перевез его в крымское имение. Там он поставил этот домик на берегу моря и зажил в нем, отбросив все культурные потребности. Он сбросил даже платье и два месяца прожил так, не прикрываясь ничем. Домик этот был такой маленький, что в нем можно было только лежать; крыша открывалась как у сундука и через нее Архип Иванович выглядывал ночью, если слышал какой-нибудь подозрительный шум. Он купался в море и сушился на берегу

без всяких покровов и без шляпы; его черные волосы выгорели и сделались желтыми. Я не узнала его, когда увидела по возвращении в Петербург.

Архип Иванович умел говорить по-татарски, и окрестные жители, татары, часто обращались к нему за советами; его считали отшельником, мудрецом, подвижником, слава его разнеслась так, что татарский мулла приезжал к нему, чтобы увидеть и побеседовать с мудрым человеком. Тут произошел известный не многим анекдот. Мулла приехал в то время, когда Архип Иванович сидел, по обыкновению, совсем раздетый и что-то читал. Мулла слез с лошади. Привязывая ее к дереву, он робко, с почтением поглядывал на обнаженного отшельника. Думая, что если мудрец ходит в таком виде, то значит так и нужно и, чтобы не отстать и угодить ему, он степенно стал раздеваться сам и, только когда снял все дочиста, приблизился к Архипу Ивановичу, чтобы приветствовать и начать беседу. В таком виде они проговорили до заката солнца и расстались очень довольные друг другом.

К концу второго месяца отшельнической жизни Архип Иванович стал скучать по своим друзьям. Вот что он придумал. В горах он отыскал большие камни, на которых написал имена тех, к кому чаще ходил: Крамской, Ярошенко, Менделеевы, и в те дни, в которые он ходил к ним в городе, он стал ходить в горы к камням,— в субботу к камню Ярошенко, в воскресенье к камню Крамского и в среду к камню Менделеевых. К осени он как-будто вылечился от своей неизвестной болезни и, возвратясь в Петербург, с прежней энергией стал работать, не забывая и о мысли создать себе состояние.

Раз, проходя по десятой линии Васильевского острова, он увидел на одном доме об'явление о продаже трех огромных пятиэтажных домов. Условия были очень выгодные с доплатой в банк. Архип Иванович рассказывал, что дал себе на обдумывание полчаса и решил купить. Скоро он привел в порядок очень запущенные дома. Себе взял маленькую квартиру на самом верху. Единственная роскошь, которую он себе позволил, был маленький сад на крыше дома. Это была его всегдашняя мечта, он часто об этом говорил, еще когда и не думал покупать дома. Наносили земли, посадили деревья, и Архип

Иванович сам за ними ходил. Там любил он кормить голубей и других птиц, которые слетались к нему тучами, лечил заболевших, наблюдал за ними. Так он заметил, что воробьи очень музыкальны: когда он свистел, то они бросали клевать брошенные им зерна и приближались слушать. Он наблюдал целых два месяца за парой пауков; осенью брал в комнаты бабочек, кормил их булкой, намоченной в сахарной воде, и ему удавалось поддержать их жизнь почти до конца января. А раз ему пришлось сделать бабочке операцию сломанного крыла: он вырезал по форме отломанной части крыла такую же из папиросной бумаги, прикрепил ее с помощью своего собственного волоса и гуммиарабика, и бабочка летала. Из сада на крыше был прекрасный вид в сторону Гавани, на который Архип Иванович любил смотреть. Прохожие по 9 линии могли видеть, как над крышей огромного дома показывалась крупная фигура человека, неподвижно и долго смотревшего на закат солнца.

Имея огромный практический смысл, Архип Иванович был все-таки больше идеалист, чем практик. Мне кажется, что он легко бы перенес потерю состояния, но разочарования в людях, друзьях убивали его, и развившаяся у него болезнь сердца, от которой он сошел в могилу, произошла от огорчений моральных. Средства ему нужны были не лично для себя: он довольствовался поразительно малым—они нужны были ему для целей идеальных и отчасти и для честолюбивых.

Честолюбие было его главной и, может быть, единственной слабостью. Мне помнится, кто-то спросил его, когда он только-что купил свои дома, и неизвестно было, как идут его дела, богат ли он, и долго приставали, чтобы сказал. Архип Иванович помолчал, улыбнулся:—„Я вам расскажу восточную сказку. Был один богатый старик; у него были дети и много друзей; но старик был скуп, он никому не давал ни денег, ни подарков и все свое золото носил в мешке, с которым никогда не расставался. Придет к сыновьям, сядет за стол, а мешок положит рядом; также и к знакомым—мешок с золотом был с ним неразлучен. Все с почтением принимали богача, служили ему, угождали, все двери для него были открыты. Наконец, старик умирает. Все с нетерпением и любопытством бросаются

к мешку, развязывают и находят в нем глиняные черепки. Старик был хитер: зная, что перед золотом все преклоняются, он и придумал способ получить почет. Вот мои дома, может быть, тот же мешок," — говорил со смехом Архип Иванович.

Он шутил, но мне кажется, что этой сказкой он кое-что сказал: как тот старик, он знал, что золото огромная сила.

Что Архип Иванович просто любил деньги, нельзя думать; тратя мало на себя—другим он давал щедро и охотно, он не ждал даже, чтобы его просили; сам предлагал, когда думал, что нуждаются. Некоторых товарищей он поддерживал всю жизнь, выдавая им пенсию. Эта изумительная черта характера осталась у Архипа Ивановича до конца жизни и ярко выразилась, когда, продав свой дом за 400.000, он вскоре 100.000 отдал в Академию на премии художникам за картины. Сам же, сделавшись богачом, не изменил нисколько своего образа жизни, продолжал жить без прислуги; обстановка осталась все та же, что и на Малом проспекте, когда он только-что начинал свою карьеру; даже все тот же памятный мне коричневый диван, пара кресел и несколько стульев по прежнему составляли меблировку его гостиной. Развлекался он только в кругу своих товарищей, да изредка ходил в театр, преимущественно любил концерты и оперу, но всегда предпочитал попросту посидеть с друзьями.

Одно время Архип Иванович заинтересовался аэропланами и под большим секретом пытался изобрести способ управлять ими. Но я думаю, научная неподготовленность тормозила дело, и удовлетворительных результатов он не получил. Недостаток образования был его больным местом, и этого нельзя было касаться. Раз как-то у знакомых он рассказывал о виденном им на Бермамуте на Кавказе „брокенском при видении", этом интересном и редком горном явлении. Кто-то попросил об'яснить это явление. Архип Иванович начал, но об'яснение что-то не клеилось. „Подождите, я спрошу нашего репетитора, студента"—неосторожно сказала одна барышня. Архип Иванович побледнел и, сделав усилие, нашел все-таки удовлетворительное об'яснение, но настроение его было испорчено.

Другая отличительная черта характера Архипа Ивановича была его прямота; он не мог не сказать всей правды, всего, что думал, если спрашивали его совета. Это все знали, высоко ценили его слова и ему верили, особенно художники. „Это у вас не вышло, сделайте вот как (следовало ясное и верное указание); ведь вы можете, смягчал он,—я потому и говорю так, что вы можете сделать".

В совете Академии Художеств он часто один против всех высказывал самые резкие и смелые мнения. Это создавало ему врагов, но он забывал себя ради общих интересов. Самое спокойное время в жизни Архипа Ивановича было, когда он жил в тесном кругу своих друзей-передвижников, которых любил всей душой, входил в их семейные дела, был надежным другом, всегда готовым поддержать и словом и делом. Когда он был приглашен гр. И. И. Толстым в Академию Художеств, он также стал относиться и к своим ученикам. Он внес всю свою душу и энергию в новую деятельность, не жалея ни времени, ни средств; он приобрел огромное влияние на своих учеников, их любовь, но потерял своих друзей-передвижников, которые были против его поступления в Академию: это нанесло Архипу Ивановичу страшный удар и отразилось на его здоровье.

Я помню, как Архип Иванович узнал о своем исключении из собрания передвижников. Он был у нас; пришел и Н. А. Ярошенко; в то время у них уже были несогласия. За обедом Ярошенко, по обыкновению, со свойственным ему остроумием, подшучивал над Архипом Ивановичем. Время шло весело, незаметно. Взглянув на часы, Ярошенко сказал, что, к сожалению, должен итти на собрание товарищей. „Да ведь и я должен, а я совсем забыл", — сказал Куинджи. Ярошенко промолчал. Они простились с нами и вместе вышли. Через несколько времени раздался нервный звонок, испугавший нас; это был Архип Иванович до того расстроенный, огорченный и возмущенный, что долго не мог выговорить ни слова. Потом рассказал следующее: выйдя от нас с Ярошенко, они дошли, все разговаривая, до Морской, вошли в Общество поощрения художеств, где были общие собрания передвижников, стали уже в передней снимать шубы, и только тут Ярошенко сказал:

— Да куда же вы, Архип Иванович, разве вы не знаете, что товарищи решили не пускать на собрание никого из посторонних?

— Ну, да ведь не меня же, спокойно улыбаясь, как чему-то невозможному и даже смешному,—ответил Куинджи.

— Нет, именно вас решено не пускать,—сказал Ярошенко так, что Архип Иванович понял все.

Он был ошеломлен. Я не берусь описывать, в каком состоянии он пришел к нам. Много тяжелого пришлось пережить Архипу Ивановичу в жизни, и в Академии, и даже среди учеников, но мне кажется, что рана, нанесенная ему товарищами-передвижниками, была самая тяжелая и не заживала до конца его жизни.

Задолго до поступления в Академию, Архип Иванович перестал выставлять, и многие, даже близкие друзья, думали, что он, отдаваясь заботам о доме, а потом Академии, перестал работать, как вдруг разнеслась изумившая всех новость: Архип Иванович показывает свои новые картины в своей квартире на Васильевском острове в доме Елисеева, куда он переехал после выхода своего из Академии. Архип Иванович своим друзьям и ученикам показал картины с теми же световыми эффектами, над которыми он работал раньше, много лет назад. Здесь были серый день, малиновый закат и лунная ночь— Гефсиманский сад. Какой стиль, какая школа— нельзя ответить. Перед нами сама природа, волшебно перенесенная в эту маленькую комнату, в этот серый день.

Некоторые из наших критиков укоряли Куинджи, что он не учился у Запада, не понимая, что Запад-то выше всего ставит в таланте самобытность, оригинальность и искренность, и явись у него такой колосс, который, имея все эти качества, отдал бы, как Архип Иванович, всего себя до конца служению искусству и миру художников, оставив себе только нравственное удовлетворение — он был бы оценен с чувством восторга и гордости. Когда мы смотрели картины, кто-то спросил, почему Архип Иванович взял опять те же мотивы, что и много лет назад.

— Вот почему, — сказал он, — когда я выставил „Ночь на Днепре“ и другие картины, и толпа пришла смотреть их и

еще восторгаться, я сгорал со стыда, что не написал так, как бы хотел, и дал себе слово написать то же, но так, чтобы не краснеть, и вот написал и все-таки краснею.

Мы улыбались, но он говорил искренно, как всегда. Скоро картины свои он опять спрятал, но написать других ему не удалось; он был уже болен. Своими картинами он опять был не удовлетворен. За два месяца до смерти он задумал что-то переписать в картине „Закат", покрыл почти всю битюмом. уничтожил то, что было (а было прекрасно) и, к великому несчастью, не успел сделать то, что хотел.

Как известно, скончался Архип Иванович от болезни сердца, оставив все свое огромное состояние обществу художников и очень скромно обеспечив свою жену.

VII

Боблово

Через два года после моего замужества, я начала, после перерыва, писать этюды, но никогда не решалась показывать их знакомым художникам.

Репин предложил написать мой портрет, на Пасхе был назначен первый сеанс. Я очень радовалась, но почему-то было решено уехать в Боблово в этом году раньше обыкновенного, сеанс был отложен до осени. А осенью я не могла уже позировать, потому что готовилась быть матерью второй раз. По этой же причине пришлось опять отложить и мои занятия живописью.

Скончался мой отец. Горю моему не было пределов, но Дмитрий Иванович не давал мне предаваться ему, напоминая, что я могу повредить здоровью нашего ребенка. Вскоре родился сын; в честь наших отцов назвали его Иваном. Я опять кормила сама. Дмитрий Иванович попрежнему работал, а весь досуг отдавал нам, что озаряло особенным светом нашу семейную жизнь. Среды все-таки у нас были. Попрежнему часто приходили наши друзья. Ярошенко и Куинджи чаще других, но сама я в те годы не бывала почти нигде. Еще через два года родились наши близнецы Василий и Мария, названные так в честь матери Дмитрия Ивановича Марии Дмитриевны и моей сестры Марии Ивановны Сафоновой, а сын в честь дяди Василия Дмитриевича Корнильева. Семейные обязанности расширились еще больше. Близнецы родились крепкими, здоровыми, крупными, но к великому нашему горю Вася простудился, когда ему не было еще двух лет; у него сделался

гнойный плеврит. Лечившие его доктора Галанин и Коровин пригласили меня в кабинет Дмитрия Ивановича и об'явили, что нас ждет тяжелое испытание, ребенок по всей вероятности не перенесет болезни, и развязка близка. Вася целую неделю не мог уже лежать в горизонтальном положении, начался отек легких, сердце сдвинулось, его держали в полусидячем положении, спать он не мог. Чувствуя, что, может быть, я сама виновата в этой простуде, я пришла в отчаяние и без общего согласия бросилась к доктору Быстрову, имя которого слыхала. Быстров приехал, подтвердил диагноз своих коллег, но сказал, что надо сейчас, не медля ни минуты, сделать операцию, и, может быть, еще удастся спасти ребенка. Он указал на оператора д-ра Мультановского. Я бросилась к нему. На мой звонок он сам открыл двери, одетый в шубу, в шапке и с ящиком в руках. Когда я подала письмо от Быстрова и сказала, зачем приехала, Мультановский ответил, что должен сейчас ехать на операцию, что его уже там ждут. Когда окончится операция, он не может сказать. Я молча заплакала, Мультановский стоял в раздумьи, потом сказал, что едет со мной; инструменты были с ним. Это было уже в 11 часу ночи. Когда мы приехали, пришлось еще искать доктора, чтобы присутствовать и помогать при операции. Доктор Галанин, вероятно, не надеясь на успех операции и уехал. Коровин, приглашенный на консультацию, уехал еще раньше. Мы вспомнили, что рядом, в Костантиновском училище, должен быть доктор, послали туда, и доктор Александр Иванович Кондратьев сейчас же явился. Операция была сделана тотчас. Вася первый раз после двух недель заснул лежа. Он стал поправляться. Александр Иванович следил за ним и с этих пор стал нашим постоянным доктором до его смерти. Весной мы все переехали в Боблово, где надеялись, что воздух и условия деревенской жизни укрепят Васю.

Боблово — небольшое имение Дмитрия Ивановича в 18 верстах от Клина Московской губернии. Он его купил в долг, кажется в 1868 году пополам с Н. И. Ильиным, профессором Технологического института, заплатив за свою часть 8.000 рублей, которые он выплатил не сразу. Оно принадлежало раньше князю Дадьяну, умершему в год эмансипации, не оставив

наследников. Имение перешло в казну, потом попало какому-то частному лицу. У него Дмитрий Иванович с Ильиным и купили Боблово. Дмитрий Иванович рассказывал, что случайно в вагоне по дороге в Москву услыхал об этом имении, заинтересовался и поехал посмотреть, а взглянув, уже не мог отказаться от желания его иметь. И действительно, в Бобловской местности есть что-то цельное, законченное, как в произведении талантливого художника; ничего не хотелось бы изменить, прибавить, убавить или переставить. Местность гористая— три больших горы: Бобловская, Спасская и Дорошевская. Между ними в долине извивается река Лотосня с лугами и лесами. Плавная линия этих холмов с рекой, с широким горизонтом, дает какое-то былинное настроение. Усадьба наша стояла наверху Бобловской горы в парке. К ней под'езжали с одной стороны по вязовой аллее, а с другой—по березовой. Перед домом был цветник и фруктовый сад. Особенно хороша была сиреневая аллея с ронкилями, ирисами, нарциссами и красными и розовыми пионами.

Дмитрий Иванович, приобретя имение, занялся с увлечением хозяйством, как и всем, за что бы он ни принимался. Он устроил опытное поле; результаты опытов в виде таблиц отданы в Петровскую Академию. К тому времени, когда я в первый раз приехала в Боблово, ему уже некогда было заниматься самому хозяйством, он имел помощника, а руководил сам. Но работа была его стихией, и в деревне он также сидел за книгами и рукописями [1]). Он почти не гулял и не катался. А если приходилось ехать куда-нибудь по необходимости, то ездил с наслаждением и, как настоящий русский человек, любил тройку, колокольчики и езду во весь дух. Он весело разговаривал с ямщиком и не просто болтал, а говорил иногда о трудных философских и общественных вопросах, как с равными себе, только находил доступный собеседнику подход.

Я любила ходить по Бобловским окрестностям, и какие разнообразные были эти прогулки: то старый, старый лес Манулиха, то молодой Горшков, то поля, луга, река и мельница,

[1]) В тот год он работал над „растворами". Его сотрудниками были Д. П. Павлов, брат И. П. Павлова, В. Е. Тищенко, И. Ф. Шредер и др.

за которой мы купались в Лотосне. Лотосня не широкая река, но довольно глубокая, местами красиво поросшая водяными лилиями, кувшинками и незабудками. Дорога к реке шла березовой рощей, которой так любовался Архип Иванович Куинджи, когда был у нас в Боблове. И все-таки я не сразу узнала все уголки нашей местности. Только в последние годы, уже после кончины Дмитрия Ивановича, я сделала случайно археологическую находку. Верстах в семи от нас находилось Шахматово, именье А. Н. Бекетова, где он с женой, дочерьми и внуком Александром Блок проводил лето. Мы друг у друга бывали. Дорога шла березевой рощей, через реку, мимо мельницы, церкви и деревни Тараканово. По ту сторону реки стояла другая церковь, окруженная рощей, мимо которой я столько раз ходила. Раз мы как-то осенью зажились в Боблове до листопада. Проходя мимо Таракановской рощи, я заметила в ней маленькую постройку, которую не было видно через густую летнюю листву. Теперь, осенью, листья опали, и сквозь голые ветви виднелось что-то в роде часовни. Подхожу ближе, обхожу кругом, у дверей огромный муравейник, прислонившийся к самой двери—видно, что люди давным давно не ходили здесь. Очень заинтересованная, иду к священнику.

— Батюшка, что там у вас такое?

— Да что там,—это старая часовня, а в ней всякий хлам.

— Покажите, батюшка.

— Ну что там, я и ключи не найду.

Прошу еще, и батюшка находит огромный, почти в поларшина, ключ. Идем. Муравейник отгребли. С трудом открываем двери. Входим — у меня захватило дыхание. Кругом старые книги времен Петра, Анны Иоанновны, иконы и, наконец, царские врата новгородского стиля допетровских времен, резные, с зеленой эмалью между резьбой.

— Зачем вам все это, батюшка, ведь у вас тут все сгниет. Надо написать в Археологическую комиссию.

— Да тут уже были, смотрели года два тому назад, да что толку.

— Ну тогда отдайте мне хотя бы за вклад в церковь, а я уже знаю, куда передать.

— Эк выдумали, пойдемте, пойдемте, нечего нам здесь делать.

Но я не могла успокоиться, зная, что все так пропадет и сгниет. На следующее лето опять пошла.

— Ну что, никто еще не взял у вас вещи из старой часовни?

— Нет, никто.

Наконец, через два года заместитель старого священника отдал мне царские врата за вклад в церковь. Я привезла их в Петербург; они были на археологической выставке и оттуда взяты в музей Штиглица.

После такой находки я стала расспрашивать всех в деревне, нет ли еще где такой часовни. Особенно был нам полезен мясник из села Рогачева, который развозил мясо по усадьбам и отлично знал местность. Он указал мне на одну старую часовню; я поехала, нашла эту часовню. Она была еще старинnее тарakановской. Внутри стены были затянуты старой синей крашениной, которая от ветхости во многих местах истлела и висела клочьями. В одном месте под разорванной обивкой обнаружилась деревянная стенка, и в ней врезанный потайной шкаф. „Что там было, батюшка?" — спрашиваю показывавшего мне часовню священника. „В нем нашли старую рукопись". — Где же она?". „Да, — мнется священник, — ее взял наш староста и потерял". Не знаю, что сталось потом с этой часовней.

Найдено было у нас и городище. С балкона нашего дома видна река. Сидя как-то у нас, археолог Яков Иванович Смирнов попросил бинокль. Долго смотрел он в одно место на противоположном берегу реки и сказал, что по всей вероятности там городище. Наш сосед, его двоюродный брат Николай Александрович Смирнов, пригласив за деньги нескольких крестьян, начал раскопки. Скоро труды их увенчались успехом. Найдены были скелеты мужской и женский, утварь и другие принадлежности городища. Брошюра с описанием этой раскопки была издана Смирновым. Такое же городище потом видели мы и за несколько верст от нас, в селе Синькове.

Дом в Боблове, который построил Дмитрий Иванович, архитектуры особенной: строил его он сам, по своему плану, сделав из картона маленькую модель. Сам нанимал рабочих и

следил за постройкой. Он двухэтажный, с большим подвалом и обширным чердаком. Нижний этаж каменный, с каменными сводами; верх деревянный, с террасой в длину всего дома; пол этой террасы цементный. Внутри деревянных колонн железные рельсы, такие же в колоннах балкона нижнего этажа. Внизу пол везде бетонный, лестница, ведущая из передней нижнего этажа и верхний из какого-то желтоватого камня, похожего на мрамор, ставни везде внутренние, железные, обшитые дубом. Балконы обвиты диким виноградом.

Все производило впечатление внушительное и крепкое. Соседка наша по имению говорила, что дом наш напоминает ей замок Рюдольштадт из романа Жорж-Занд „Консуэлла". С верхней террасы открывался вид прекрасный и широкий, как русские былины, поражавший всех, кто видел его в первый раз. Дом этот сгорел в 1919 году.

VIII

Полет Д. И. Менделеева на аэростате

В 1887 году, 7-го августа ожидали солнечное затмение, которое должно было быть видимо на всем пути от Германии, в центральной России и Сибири до Тихого океана.

„В связи с работами о газах Дмитрий Иванович заинтересовался вопросами метеорологии и воздухоплавания, а затем и вопросами о сопротивлении жидкостей. По этим вопросам он опубликовал две монографии, и в 1887 году сам с огромным риском для жизни поднялся на воздушном шаре в Клину для наблюдения полного солнечного затмения“ [1]).

К этому затмению ученые готовились года за три до срока. Условия для наблюдения его были исключительны, так как можно было наблюдать на очень большом пространстве на суше. Все страны, где существовала наука, отправляли наблюдателей преимущественно в центральную Россию. Англия, Франция, Италия, Американские Штаты, Германия и Россия сделали необходимые приготовления. В наших местах около Клина расположились наблюдатели от Русского Физико-Химического общества. Устроили временную обсерваторию. Трудов было много. Им помогала и местная интеллигенция. Гр. А. В. Олсуфьев, верстах в 25 от станции Подсолнечное, в своем имениьи Никольское-Обольяниново, поместил членов Русского Физико-Химического Общества, приехавших для наблюдения затмения.

Дмитрий Иванович, конечно, очень интересовался наблюдением полного солнечного затмения. Наше Боблово в 18-ти

[1]) Чугаев. „Д. И. Менделеев. Жизнь и деятельность“.

верстах от Клина было в полосе полного солнечного затмения. К нам хотели приехать К. Д. Краевич и другие.

За неделю до события Дмитрий Иванович получил телеграмму от товарища председателя „Русского Технического Общества“ М. Н. Герсеванова, с предложением сделать наблюдения полного солнечного затмения с аэростата, который должен был подняться из Твери. В телеграмме было между прочим сказано, что Техническое Общество снаряжает поднятие шара из Твери во время солнечного затмения, и Совет Общества считает долгом заявить об этом, чтобы, в случае желания, Дмитрий Иванович лично мог бы воспользоваться поднятием шара для научных наблюдений.

В воскресенье 2-го августа, Дмитрий Иванович сделал распоряжение в имении; ему надо было тотчас же после затмения отправляться в Манчестер на собрание Британской ассоциации или с'езд естествоиспытателей, куда он был приглашен. В понедельник он осматривал и проверял приборы необходимые для наблюдения; во вторник надо было ждать прибытия шара. Наконец, была получена телеграмма от Джевецкого: „Для обеспечения успеха драгоценного для науки под'ема и возможности подняться выше он предпочитает подняться в Твери с Зверинцевым на шаре Технического Общества“. В конце телеграммы сказано, что „в Клин командируется опытный аэронавт Кованько со всеми приборами и электрической лампочкой, все, надеется, поспеет во-время“.

Во вторник Дмитрий Иванович отправился в Клин, чтобы встретить Кованько и условиться о подробностях, но его не было, и никто, ни воинский начальник, ни исправник ничего не знали и только начальник станции сказал, что есть на имя Кованько ящик с серной кислотой, в нем не меньше 50 пудов. Оставалось до приезда Кованько еще много времени и Дмитрий Иванович решил его употребить на свидание с членами комиссии Русского Физико-Химического общества, которые жили в имении гр. А. В. Олсуфьева в Обольянове для наблюдения затмения. Цель поездки в Обольяново состояла в том, чтоб узнать, нельзя ли во время поднятия сделать еще какие-либо наблюдения какие, может быть, ему не приходили в голову. Хозяин Обольянова А. В. Олсуфьев любезно пред-

ложил Дмитрию Ивановичу карманный анероид, показывающий высоту до $2^1/_2$ верст. С членами комиссии Дмитрий Иванович обсуждал также подробности относительно фотографирования. Из имения Олсуфьева Дмитрий Иванович поехал прямо к нам в Боблово, чтобы на другой день ехать в Клин. Выехав, как хотел, на другой день, Дмитрий Иванович по дороге встретил ехавшего к нам К. Д. Краевича, который уговорил его возвратиться домой. Он видел в Клину Кованько и начало приготовления шара для поднятия. Он уверял также, что Кованько будет прекрасным спутником, что он опытный и находчивый аэронавт. Разговор с Краевичем поддержал Дмитрия Ивановича в том мнении, что лучше не мешать специалистам своего дела.

6-го августа утром приехал к нам Илья Ефимович Репин. Он также видел Кованько и аэростат и слышал такое же мнение; что можно надеется, что все будет в порядке. Дмитрий Иванович с Краевичем уехали, а Илья Ефимович еще оставался у нас, но скоро уехал и он, ему надо было делать наброски с аэростата; он готовился зарисовать и момент отправления, и полет шара.

Дмитрий Иванович с Краевичем в Клину поехали прямо к шару. Место было хорошо выбрано, и город и станция были близко. Тут же был и пруд — вода была необходима.

Дмитрий Иванович познакомился с Кованько и первое впечатление было такое же, какое он слышал от своих знакомых. Между вещами, необходимыми для воздухоплавания, Дмитрий Иванович увидел, что нет карты местности. Пришлось отыскивать карту Клинского уезда. Такая карта нашлась у исправника, но ее нельзя было взять, пришлось делать копию. Дмитрий Иванович, находясь около шара, видя, что аэростат достаточно наполнен, а оставалось до отлета еще 15 часов, спросил у Кованько, почему так рано начали. Ему об'яснили, что приборы для добывания газа, которые пришлось взять, отличаются тем, что дают медленно газ и для бо́льшей уверенности наполнения предпочли начать заранее. „Должен признаться, — пишет Дмитрий Иванович в своей брошюре, — что, сделав вопрос о причине раннего наполнения, я изменил своему первоначальному намерению — не вмешиваться в распоряжения

лиц, стоящих у дела, тем более, что главный руководитель всего дела Кованько, должен был лететь вместе, следовательно должен был принимать все предосторожно ти, и его не следовало развлекать никакими лишними вопросами и замечаниями. Изменивши раз своему первоначальному намерению, я уже больше не изменял ему ни разу, тем более, что мой друг К. Д. Краевич, вполне согласившись с такого рода действиями, был подле меня и лишь только видел, что я хочу вступить в технические расспросы, старался меня воздерживать, т.-е. возвратить на правильный и условленный способ отношения к делу."

На ночь приют Дмитрию Ивановичу и Краевичу дал городской голова А. М. Воронов. Устроившись, занялись необходимыми приготовлениями: проверкой времени, снятием карты, наблюдением температуры и т. п.

На вокзале было много народа, между ними обратили на себя внимание велосипедисты, приехавшие из Москвы. Они помогали потом искать шар, когда он поднялся и исчез. Опять ходили к шару; там какая-то дама просила, а потом и требовала, чтобы ее взяли лететь. Она хотела обратиться к властям и была очень недовольна, когда ей отказали.

„Замечу, — что это добрый знак, если дамы стали интересоваться у нас аэростатами" — добродушно говорит Дмитрий Иванович в своей брошюре. Дальше выписываю целиком из той же брошюры.

„Кругом аэростата была масса народа, и стояло множество экипажей. Проходя к аэростату, я встретил нескольких своих петербургских знакомых, приехавших наблюдать солнечное затмение и вместо него теперь решившихся, так как нечего было другого делать, наблюдать по крайней мере отлет аэростата [1]), При входе в загородку послышались дружные крики. Из них один лишь, признаюсь, мне памятен. Кто-то кричал „бис" и я подумал: хорошо бы в самом деле повторить и повторять это торжество науки, хорошо потому, что есть масса

[1]) Д. И. не знал, что в толпе в отдалении была и я. Я поехала потихоньку, т. к. он просил меня не присутствовать при отлете, что я для его спокойствия и обещала.

чрезвычайно интересных задач, которые можно разрешить только при поднятии на аэростатах. Задачи эти не чужды наших обычных общежитейских интересов, потому что они касаются разрешения понятия о погоде. Аэростатическое восхождение Захарова, Гей-Люссака, Тиссандье и особенно Глэшера на его „философском аппарате" (т.-е. физическом приборе), как он назвал свой аэростат, внесли уже много данных чрезвычайной важности в область метеорологических сведений. Теперь же, здесь в Клину, это торжество науки должно было совершаться перед этой толпой, и пусть она из'являет свою радость, как умеет и знает. В лице—она чтит науку. Теперь надо действовать, и теперь мне следует помнить, что во мне случайно перед этой толпой и перед множеством тех лиц, которым известно о предполагающемся поднятии, соединились те или другие ожидания бóльшего или меньшего успеха наблюдений. Подходя к аэростату, я был удивлен, встретив массу толкавшихся у корзинки лиц, кроме тех ближайших, которые были заинтересованы в деле. При этом считаю не напрасным заметить, что когда я ранее разных лиц просил в городе о том, чтобы они позаботились о порядке, то не раз слышал в ответ, что беспокоится не о чем, все понимают, как это существенно и что неудобно вмешиваться в распоряжения, когда лица особого специального ведомства заведуют всем делом. Я должен сказать, что в действительности, хотя лиц было много, хотя теснота была большая, но везде был виден тот порядок и та порядочность, которые требовались по условиям дела, и полиции я не заметил.

Не помню, кто при моем приходе остановил меня и сказал мне на ухо: „Дмитрий Иванович, у аэростата нет под'емной силы. Я вижу, знаю дело, лететь нельзя, уверяю вас, нельзя". Приближаюсь; среди толпы вижу, что Кованько распоряжается делом, и что аэростат держат уже за те веревочные концы, которые идут от его экватора и опускаются до земли. Корзинка, однако, была нагружена мешками с песком. Их вынимают, на место их ставят ранее приготовленную табуретку и ставят доску. На табурете я предпочитал сидеть во время наблюдений, потому что в сидячем положении мне казалось болѣе удобно производить наблюдения, так как обе руки могли

быть тогда свободными. Ведь я никогда не летал в свободном аэростате и потому думал, как и многие, что в аэростате существует качка, хоть не в роде морской, а вращение и легкое покачивание, и предполагал, что они будут мешать устойчивости рук при наблюдении, даже, может быть, заставят держаться одной рукой за веревки, а это могло мешать скорости и отчетливости наблюденй. Потому я просил для себя поставить табуретку. Если бы она помешала, ее можно было бы привязать за бортом или просто выбросить. На доске, которую предполагалось положить на края корзинки, я думал расположить все приборы для того, чтобы они были под руками в короткое время полного солнечного затмения. В корзину аэростата поместили и мою небольшую корзинку с приборами. По отношению к ней Кованько спросил меня, что́ там находится, и удовлетворился ответом, что там помещены все мои приборы. Все другие приборы были уже укреплены по местам. Анероид и барограф были привязаны на высоте роста человека, так, чтобы быть прямо перед глазами наблюдателя. Немного ниже была привязана батарея с электрической лампочкой. За бортом я увидел привязанными, уложенные в бухты, канаты. Один канат был с якорем.

Ко мне подошел между другими лицами А. И. Сосунов, приехавший из Петербурга, как представитель аэростатического отдела Технического Общества Он мне сказал почти то же, что и кто-то другой сказал раньше, т. е., что под'емная сила аэростата оказывается малой, и что двоим лететь нельзя. Внутренне я уже раньше решил, что, если двоим лететь нельзя, я полечу один.

Мешки были выгружены. Что́ нужно взять с собой, находилось уже в корзинке. А. М. Кованько с чрезвычайной легкостью вошел в нее, и когда я его спросил, в исправности ли клапан, он дернул раза три за клапанную веревку и приказал одному из солдат взлезть для того, чтобы развязать нижнее отверстие аэростата, в котором, вероятно, была привязана та гибкая трубка, через которую водород вводился в аэростат. Отверстие аэростата и после развязки осталось закрытым, конечно, потому, что аэростат не был раздут, и упругость содержащегося в нем газа в нижних частях была не

более атмосферной. Легкость же оболочки удерживала ее края, так что отверстие аэростата не открылось... Так как А. М. Кованько распоряжался освободить корзину от мешков с песком, вложить в нее, что́ следовало, сам вошел в корзину и ничего не говорил о невозможности лететь двоим, то я думал, что под'емная сила мала, но все же для отлета достаточна, а там шар обсохнет, и мы поднимемся, куда можно, выбрасывая сперва что́ придется, если песку будет мало. Эти мысли мелькнули и, несмотря на подтверждение, мне все еще казалось невероятным отсутствие надлежащей силы в аэростате, наполненном водородом. Разговаривать было не время. Простился с близкими, здесь стоявшими, сказал сыну [1]) то, что мне казалось необходимым сказать в последнюю минуту и, судя по времени, инстинктивно смеренному после входа в изгородь, почувствовал, что отправляться пора.

Когда я сам хотел сесть в корзину аэростата, то не знал, с которой стороны удобнее это сделать. Веревки, идущие вверх от края корзинки к кругу или кольцу, мешали мне, и только благодаря указаниям окружающих лиц, что с угла будет гораздо удобнее войти, мне удалось перешагнуть высокий край корзинки. В первый раз я входил в корзинку аэростата, хотя, правда, однажды поднимался в Париже на привязанном аэростате. Теперь мы оба были на месте, и А. М. Кованько распорядился, чтобы, ослабив удерживающие веревки, попробовали, поднимает ли аэростат нас обоих. Веревки приспустили, но не выпустили, и тотчас стало очевидным, что нас двух аэростат не поднимет. Правда, что нас приподняло чуть-чуть от земли, но тотчас же дно корзины коснулось опять земли, и было очевидно, что ветер своим давлением нас влечет, а не газ своей легкостью уносит нас вверх. Ветер повлек нас на несколько шагов по направлению к пруду, т.-е. к северу, и А. М. Кованько распорядился, чтобы аэростат воротили на прежнее место. Тогда я ему сказал, что лечу один, и он оставил корзинку. Видя, что аэростат имеет малую под'емную силу, я выкинул доску и табуретку, вложил сперва три мешка, потом два мешка баласта. Попробовали—аэростат

2) Владимир Дмитриевич, моряк, сын от первого брака.

поднимает. Мне хотелось распорядиться о том, чтобы приняли все лишнее, что возможно принять, но кто-то из окружающих стал говорить о том, что так лететь не следует, а кто-то другой напомнил о времени, и я сам в этот момент почувствовал, что уже пропущен условленный момент отлета, что следует, как можно более, спешить. Попросил только дать мне ножик для того, чтобы своевременно отрезать веревки, удерживающие якорь и гидрон, да обратился к В. И. Срезневскому с просьбой еще раз прочесть телеграмму о погоде. Пишут в газетах, что я прощался. Признаться сказать, этого не помню. Помню только, что во мне было чувство некоторой спешливости—не опоздать к моменту солнечного затмения. Не помню также, распоряжался ли я или распоряжался кто-то другой, но аэростат отпустили, и я тотчас же увидел, что под'емная сила и при двух мешках баласта мала, потому что аэростат очень медленно начал подниматься от земли. Его потянуло к северу и, вынув из кармана анероид, я тотчас увидел по движению стрелки, что под'емная сила чрезвычайно слаба. Мешки с песком лежали на дне корзинки. Их лучше всего привязывать с наружного края корзинки и устраивать таким образом, чтобы высыпание песка совершалось по желанию и с бо́льшею легкостью. Тут же нужно было поднять весь мешок, наклонить его край к борту корзинки и высыпать песок. Я сделал это, но песок не сыпался, потому что он представлял сплошной ком мокрый и совсем неспособный сыпаться. Прижимая мешок телом к краю корзинки, я увидел, что не могу и этим способом высыпать песок, бросать же весь мешок сразу я опасался, чтобы не получить черезчур быстрого поднятия, грозящего различными случайностями. Поэтому пришлось опускать мешок опять на дно корзинки и обеими руками горстями черпать песок и выкидывать его для того, чтобы подняться по возможности скорее выше...

Когда выброшено было уже несколько пригоршней песку, большой анероид, висевший на веревках, поддерживающих корзину, ясно показал, что под'ем стал возрастать. Но все же кругом аэростата тогда был один туман или облако: с боков, вверху, внизу. Мне некогда было рассматривать и обсуждать. Стал еще усиленнее бросать песок, для того, чтобы поскорее

выбраться из этого облака в пространство, где бы можно было не упустить начала затмения, которое должно было скоро приблизиться, как я это чувствовал, хотя не имел ни времени, ни возможности посмотреть на часы. Когда главная масса песку была выброшена, тогда я взял весь мешок и выбросил его из корзинки с остатком песка Шар стал очевидно быстро подниматься, но и относительная темнота стала наступать, так что я не знал: зависит ли это оттого, что я нахожусь в очень густом облаке, или же—от начала полной фазы затмения. При этой последней мысли я обратился тотчас же к обзору окружающих предметов, которые хотел бросить за борт для того, чтобы ускорить под'ем. Первое, что мне бросилось в глаза, это была электрическая лампа, привязанная к внутреннему краю корзинки. Принялся распутывать веревочки, которыми она была прикреплена, но узлы их не поддавались моим усилиям. Нож был у меня под руками, и я уже хотел резать веревки и ремни, прикрепляющие лампу с батареею, но остановился в виду двух соображений. Во-первых, аэростат и без того шел сравнительно скоро кверху, потому что давление уменьшалось, и я помню, что видел цифру, превышающую примерно высоту 500 метров, когда еще я был в тумане. С другой стороны, у меня мелькнула мысль, что, быть-может, шар улетел очень недалеко от города и толпы, и сбрасывание тяжелого предмета могло кого-нибудь поранить или в городе повредить крышу, а потому оставил мысль о выбрасывании батареи с лампой. В то время, как глаза мои хотели искать других предметов, которые бы можно бросить за борт, шар вышел из облака и очутился в чистом пространстве, Полагаю, что это случилось на высоте не бо̀льшей, чем 700 метров, вероятно даже, что около 600. Какая высота была в действительности, мне было некогда наблюдать, потому что первая мысль, которая теперь мелькнула у меня, состояла в том, что теперь не время думать ни о чем другом, кроме затмения, и надобно искать солнца, потому что его не было видно. На верху, над чистым пространством, в котором теперь поднимался аэростат, плыли облака, и я думал, что облака закрыли солнце, но тогда у меня опять родилось желание бросить что́ попало за борт, для того, чтобы пройти

в верхние облака. Осмотрелся еще раз кругом и увидел солнце уже в полной фазе затмения. Я теперь соображаю, на основании всех данных, как личных, так и собранных от многих лиц, бывших при моем отлете в Клину, что момент отлета был около 6 час. 38 мин. по среднему клинскому времени. Затмение же началось примерно в 6 час. 40 мин., следовательно около двух минут, а, может быть, и немного больше этого, употреблено было мною на то, чтобы пройти первый слой облаков и попасть в чистое пространство. В какой момент после начала полного затмения я увидал солнце — сказать точно нельзя, не только потому, что мне некогда было смотреть на часы, но и потому, что в заботе и хлопотах—скорее чем во сне,—теряешь потребность знать время. Однако, судя по тому, что успело произойти после того, я думаю, что увидел солнце спустя лишь несколько секунд после наступления полной фазы затмения. Теперь обращаюсь к описанию того, что увидел по отношению к полному солнечному затмению.

Прежде всего нужно сказать, что темноты совсем не было. Были сумерки и притом сумерки ясные, не поздние, а, так сказать, ранние. Общее освещение облаков, виденное тогда мною, представляется совершенно подобным тому освещению, которое мне не раз приходилось видеть в горах после заката солнца, спустя, может быть, четверть или полчаса, там, где зари не видно и следа. Весь вид был свинцово-тяжелый, гнетущий. Думаю, что при бывшем освещении можно было бы еще читать, но я этого не пробовал, — не до того было. Увидев солнце с „короною", я, прежде всего, был поражен им и обратился к нему. Шар поднимался и, как всегда бывает при под'еме и спуске, он вращался. Когда шар летит ровно, не опускаясь и не поднимаясь, он нередко плывет почти без следов вращения. Но когда он поднимается или опускается, вращение совершается постоянно. Верхняя и нижняя поверхности аэростата не представляют совершенных поверхностей вращения около вертикальной оси; где-нибудь есть уклон меньший или больший к оси поднятия или спуска и, кроме того, от действия ветра и поднимающей или опускающей силы движение происходит не по вертикальной, а по наклонной

линии. Оттого получается давление на одно место передней поверхности иным, чем на другое, и является оттого неравномерность давления, которая заставляет шар при под'еме и спуске вращаться около вертикальной своей оси. От гибкости оболочки зависит то, что вращательное движение, начавшееся в одну сторону, не переменяется в другую, а ускоряется по мере возрастания быстроты спуска или под'ема. Вращение шара, чрезвычайно затруднило наблюдение. Нужно было, прежде всего, не упустить солнца и самому в корзине поворачиваться, следя глазами за солнцем. Боялся упустить виденное. Около солнца невдалеке находились облака, и я не знал, надвинутся ли они на солнце, или солнце останется в той стороне, в которой не было облаков, т.-е. будет мне видимо во всю фазу полного затмения. Теперь я очень ясно соображаю, что увидел солнце примерно тогда, когда аэростат был на высоте менее одной версты, а после окончания полной фазы, однако, когда прошло уже несколько минут, я определил высоту бóльшую двух верст; следовательно во все время затмения аэростат поднимался, и это было причиною неудачи, далее встретившейся. Если бы со мною был аэронавт, я просил бы его выпустить газ и оставаться в той области, в которой солнце видимо. Теперь же мне следовало только смотреть на солнце, не имея никакой возможности и времени распоряжаться аэростатом.

То, что́ я видел, можно описать в очень немногих словах. Кругом солнца я увидел светлый ореол или светлое кольцо чистого серебристого цвета. Другого, более точного определения я не могу прибрать для оттенка, который я видел в „короне“. Ни красноватого, ни фиолетового, ни желтого оттенка я не видел в „короне“. Она вся была цвета одного и того-же, но напряженность, интенсивность или яркость света уменьшалась от черного круга луны. Сила света была примерно как от луны. Размеры „короны“, или ширина светлого кольца, виденного простыми глазами, были неодинаковы по разным радиусам, так что светлый наружный край был неровен и, следовательно, кольцеобразный светлый ореол представлял неодинаковую толщину в разных своих частях. В самом широком месте толщина кольца была не более радиуса

луны. Никаких лучей, сияний или чего-нибудь подобного венчику, который иногда рисуют для изображения „короны", мои глаза не видели. Все, что я могу прибавить в этом отношении, состоит лишь в том, что напряженность света в разных частях кольца „короны" мне казалась неодинаковою, и ее наружный край стушевывался и представлял местами возвышения, местами углубления. Насколько я успел заметить и припомнить, внизу мне видно было утолщение „короны" или бо́льшая ее ширина сравнительно со всеми другими частями. Здесь внизу, если мои глаза не ошиблись, виден был красный оттенок, должно быть, выступов или протуберанций, которые характеризуют ближайшие части солнечной атмосферы и состоят из раскаленного водорода, извержение которого ныне есть уже возможность наблюдать и помимо полных солнечных затмений. Никаких звезд я не заметил. Никаких изменений однообразий или оттенков, никаких очертаний на оборотной стороне луны я также не заметил. Полагаю, что на этот обзор нового, но менее величественного, чем ждал, явления у меня пошло примерно 15 секунд, во всяком случае не более 20 и не менее 10 сек. Пораженный невиданною картиною, я желал, прежде всего, рассмотреть ту форму, которую так редко приходится видеть. Но следовало не медля приступить к измерениям. Прибор, для этого необходимый, был у меня уложен в особую небольшую корзинку, запертую замочком, и мне пришлось наклониться, отпереть замок, открыть корзинку, вынуть минимальный термометр, лежавший сверху, привесить его к борту корзинки, вынуть еще другие термометры, которые также лежали сверху, и достать измерительный угломерный снаряд. Все это я делал, не отрывая глаза от солнца, ощупью, — для того, чтобы не потерять ни на один момент вид „короны", и я полагаю, что не менее 5 секунд пошло на это. Смотря на солнце, я с ужасом увидел, когда мои руки уже коснулись угломерного снаряда, что маленькое облако закрывает виденное. Собственно говоря, закрытие это происходило не от одного того, что облако набегало на солнце, но и от того, что мой аэростат поднимался и, следовательно, перемещался относительно верхнего облака и в моем новом положении облако встало между мною и солнцем. Сперва облако было редкое

и туманное, так что сквозь него еще мелькала „корона", но скоро край большого массивного облака заслонил вполне солнце, и я тотчас увидал, что мне больше уж не увидать „короны" и, следовательно, наблюдать и мерить теперь было нечего. Как оно ни покажется странным, но я отчетливо сознавал, что времени остается до конца затмения еще много, а потому на момент бросил глаза на барограф, и мне помнится, как-будто я видел цифру около $1^1/_2$ версты поднятия по барографу, но уверенности в этом я не имею, а записывать и не думал, потому что, когда солнце заслонилось облаком, я решился не упускать из виду того места, где оно должно было находиться, для того, чтобы, по крайней мере, видеть последний момент полной фазы. Это значит, что я продолжал поворачиваться, стоя в корзинке, и все мое внимание было обращено в ту сторону, где было солнце. Известно, по показаниям многих наблюдателей, что тень луны, скользя по земле, представляется полосатою, тогда как другие наблюдатели об этом не упоминают. Казалось, что мне теперь с полным удобством, возможно будет решить этот вопрос. К сожалению, я тогда не догадался, а понял это потом, что мне лучше было бы смотреть для этого не в сторону солнца, а вниз, для того, чтобы увидеть тень внизу. Там, подо мною, в самом деле, в глубине стлались облака в виде ровной белой или, правильнее сказать, сероватой пелены, совершенно скрывшей землю, и на этой с виду однородной поверхности я бы мог, думаю, лучше видеть ход лунной тени. Тогда мне этого не пришло в голову, и я усиленно обращался в сторону, где было солнце. Облако было экраном, и я думал на нем ясно приметить полосатость, если она есть. Мое внимание было вполне направлено именно на то, чтобы уловить момент первого освещения. Мои глаза были обращены к солнцу, и направо от себя я увидел первые озолотившиеся края облаков. До того времени облака представляли однородный серый цвет, хотя и представляли по краям, сравнительно прозрачные, более тонкие места, но никаких оттенков на облаках не было видно. Теперь же облака озарились, как при закате или восходе солнца, и я видел край тени, скользящей по облакам, как по экрану, скрывающему от меня солнце. Полос в собственном смысле я не видал, но

я видел, что тень скользит по облакам как бы скачками, или неравномерно двигаясь. Быть-может, это и были полосы, но, быть-может, это есть только впечатление, зависящее от слоеватого сложения облаков, надо мною находившихся. Переход от сумерек к рассвету, теперь озарившему все пространство, был почти моментальный, сравнительно резкий, и когда тень проскользнула, наступила полная ясность облачного дня. Так как затмение должно было кончиться около 6 час. 42 мин., а моя первая заметка в записной книжке сделана в 6 час. 55 мин., то у меня оставалось более 10 мин., впечатление о которых теперь я совершенно забыл. Не помню, что̀ я в течение их делал. Занята ли была мысль чем-либо, касающимся затмения, или она остановилась на подробностях аэростата, я это совершенно утратил из памяти. Сознаю только тот момент, когда я счел нужным, прежде всего, записывать все, что̀ далее со мною произойдет. Запись эта была нужна не только для того, чтобы укрепить то, что́ дальше увижу в памяти, но и для того, чтобы воспользоваться числами тех наблюдений, которые сверх затмения мне хотелось сделать в продолжение полета.

Не подлежит сомнению, что все время, протекшее при затмении, а также и все время тех 10 минут, которых содержания я не помню, аэростат поднимался. Никакого ощущения, ни тогда, ни после того, от разряжения воздуха, от быстрой перемены в его плотности и температуре я совершенно не испытал, так что перемещение это не оставляло никакого ощущения в теле. Ветра, как известно, на аэростате обыкновенно нет, потому что сам аэростат несется вместе с массою воздуха и имеет скорость, равную с ветром. Он есть даже наилучшее средство для определения скорости ветра в том слое, где движется, а потому мне нельзя было узнать, несется ли мой шар в пространстве или поднимается в совершенно тихой атмосфере, т.-е. вертикально над Клином. Конечно, если бы была видна земля, то можно бы сделать суждение, но подо мною была такая сплошная и общая, белая пелена облаков, что не было видно никакого клочка земли...“

Спуск на землю так описывает Дмитрий Иванович. „...Для того, чтобы перелететь лес, я держал в руках мешок с песком,

а потом прижал его телом к краю корзинки. Одной рукой я схватился за что-то вверху, а другую руку держал наготове кидать песок или взять нож для того, чтобы при надобности отрезать якорь. Выбросив часть песку, увидел, что перелетаю лесок, тогда схватился за веревку клапана и его открыл во всю силу. Тут уже народ бежал по направлению к шару, и особенное мое внимание привлек один здоровый молодой крестьянин с добродушнейшим лицом. Он прямо глядел в глаза и очевидно, что не потерялся, обладал всеми своими действиями. Его я выбрал посредником спуска. Вижу, он бежит, а гидроп уже близок к тому, чтобы коснуться земли. Лесок же еще не пройден, а потому я ему кричу: „Держи веревку и замотай". Достаточно было выбросить еще некоторое количество песку для того, чтобы окончательно перелететь край леска, и когда это случилось, я уже отворил клапан, не имея возможности следить за тем, что́ сделал на земле крестьянин. Говорил мне потом этот крестьянин, Егор Григорьевич из соседней деревни Ольгино (Шильково тож), что слышал все, что́ я ему говорил, и успел захватить веревку, как только она коснулась земли. Его, говорят другие, приподняло, он не выпустил и закрепил конец гидропа за дерево. Если б это не случилось, т.-е. если б я увидел, что после открытия клапана корзинка, упав на землю, волочилась по ней, то отрезал бы веревочку, удерживающую якорь, и еще успел бы, вероятно, зацепиться якорем до приближения к деревне, потому что до нее оставалось примерно еще, по крайней мере, с полверсты. В момент опускания я тянул одною рукою клапан, другой рукой держался за веревку, имея, кажется, в этой же руке и ножик, но хорошо не помню, что́ делали руки и ноги.

Итак аэростат и я — на земле, на мягкой полянке, чуть не на копне с сеном, но до нее всего несколько саженей. Под облаками и под ними своеобразно, достойно кисти А. И. Куинджи, но я не имею способности живописать, а потому описываю не то, что́ чувствовал, не то, что́ настраивало, а то, что́ делал и о чем думал и как обдумывал. Здесь на земле опять картины, люди и сцены преинтересные, они настраивали особо, и жаль, что И. Е. Репин не мог полететь вместе, а я не сумею описать так, чтобы осталось впечатление, похожее на испы-

танное мной. Знаю только, что оно сложнее и лучше обычных городских впечатлений. Постараюсь, однако, не пропустить того, что́ оставило в памяти наиболее отчетливые образы. Первый же момент спуска, знаю, что не сумею рассказать, с его ощущениями и с его обстановкою.

Первое прикосновение с землею произошло без всякого следа заметного удара, а было легким падением, после которого произошло поднятие на несколько саженей, не знаю, на сколько, а затем второе падение было уже совершенно мягкое, и аэростат оказался упавшим на то самое место, на которое упал в первый раз... Первый человек, который подбежал ко мне, а людей бежало много со всех сторон, был какой-то мальчик, лет шестнадцати, с добрым, чрезвычайно любопытным и типическим русским лицом. Он, подбежав вплоть ко мне, уставил на меня свои глаза, а когда я его спросил: „Можешь ты тянуть веревку, только крепко и все время?“ он совершенно отчетливо и уверенно сказал: „Буду, буду, все время буду тянуть“. Потом подошел еще крестьянин и сказал: „Выходите, барин, здесь; будьте покойны, все будет ладно, спустились на хорошее место, народ добрый, будьте покойны“. Это оказался потом брат Егора Григорьева, бывший унтер-офицер Преображенского полка, Макар Григорьев. Передав веревку от клапана мальчику, имя которого я не мог потом узнать, я вышел из-под веревок корзинки и очутился в целой толпе народа, сбежавшегося посмотреть на диковину. Став на землю, прежде всего снял шапку, перекрестился, поздоровался с народом и услышал поздравления с благополучным окончанием воздушного путешествия. Макар Григорьев и еще кто-то вновь стали уверять в том, что то место, куда мне пришлось спуститься, есть место хорошее, и тут народ добрый, что беспокоиться не о чем. Вид ли мой или мое положение или что другое заставляло их повторять это утверждение — не знаю, но у меня была уверенность в добром приеме и тогда, когда, летя, переговаривался с крестьянами. Известно, что бывают, хотя и редко, для воздухоплавателей встречи неприятные. И у меня мелькнула мысль, только не тогда, когда спускался, а раньше, еще в Клину, что спуск после затмения может послужить к подобной встрече, подумать могли, что шар как-нибудь

участвовал в затмении. Однако общее добродушие нашего народа давало ручательство за добрую встречу, а здесь она была видна и без уверений. Мне говорили, однако, что в одной деревне будто бы стреляли в шар, но должно быть это вздор, потому что выстрел был бы слышен. Более вероятно об'яснение уверений в хорошем настроении народа, данное мне одним купцом, знающим те края: там среди деревень добрых, работящих и спокойных крестьян попадаются деревни, где масса крестьян озлоблена, худо и мало работает, воровата и следовательно рада всякому случаю показать свое озорничество. А аэростат спустился, очевидно, среди деревень, где господствуют добрые порядки, и Макар, человек бывалый, успокаивая меня, вероятно, думал, что мне может прийти беспокойная мысль о недружелюбных отношениях. Когда толпа подошла к нам с расспросами, он старался ее по возможности удалить от шара и особенно настаивал, узнав это от меня, на том, что шар казенный, что нужно его сберечь вполне, и что прикосновение с огнем может служить не только к истреблению шара, но и к взрыву, опасному для окружающих. На мой вопрос мне сказали, что мы находимся в Калязинском уезде, Тверской губернии, Нагорской волости, между деревнями Ольгино и Малиновец, в приходе церкви Спас-Угол или Спаса на Углу, как значится на карте. Здесь вчера был храмовой праздник, а потому сегодня еще не работают, и оттого так много народа сбежалось смотреть на шар, за которым давно следили и о возможности спуска которого слышали от священника, барина и трактирщика. Первая на земле запись была сделана в 9 час. 20 м., и здесь же приписано, что на юг, верстах в четырех лежит село Спас-Угол и в нем поместье г. Салтыкова, непременного члена мировых учреждений Калязинского уезда, бывшего артиллерийского офицера, как мне об'яснил кто-то из присутствующих. Один молодец взялся побежать к нему с моей карточкой, на которой я написал, что спустился на аэростате. Записал еще и показание анероида в 750 мм и температуру, которая по исправлении показания термометра была $16{,}2^0$. Скоро затем явился и староста, за которым побежал кто-то из присутствующих. Толпа народа все прибывала и, вероятно, не менее 500 человек было уже в какие

нибудь три — четыре минуты, потому что все были свободны и издали уже видели, где шар должен опуститься. Явившийся сельский староста, немножко чувствовавший себя по-праздничному, стал сперва, как и Макар Григорьев, уверять, что беспокоиться не о чем, что за шаром присмотрят, а когда Макар Григорьев стал советовать оставить шар и пойти к нему в ближайшую деревню, чтобы немножко отдохнуть, староста взялся присмотреть за аэростатом. Но при этом, когда я его просил не дозволять курить и присмотреть, он прибавил: „За пузырем-то мы посмотрим, будь покоен, и прибережем, ну да и за тобой присмотрим и тебя побережем".— „Ты кто такой?" прибавил он, переменив тон, как это нередко водится у нас. Эта перемена тона на меня не произвела желаемого и, быть может, ожидаемого действия, а Макар Григорьев сделал как-то в сторону старосте надлежащее внушение, так что приключение тем и кончилось. Отвязали от аэростата и взяли с собой мелкие приборы и мою корзинку, в которую все, что можно было, я уложил, так же и понесли за мною вслед за Макаром Григорьевым, чтобы отправиться в соседнюю деревню. Так как раньше того один из присутствующих взялся доставить мою карточку В. Д. Салтыкову, но его усадьба была верстах в трех — четырех, то взялись вновь известить, что я отправился с Макаром Григорьевым, если кто-нибудь прибудет из усадьбы. Только что мы сделали несколько шагов к деревне, видим едет тележка на одной лошади, и в ней сидят трое, возница и двое, одетых по-купечески. Это, говорят, соседний трактирщик и помощник управляющего. Они под'езжают ко мне, и я слышу следующее: „Ведь я говорил, что летит комета, и на ней человек сидит. Вот ты не верил, видишь теперь: вот комета и вот человек. Ну что, поверишь мне теперь?" Эти речи говорил добродушнейшим образом крестьянин Андрей Прохорович Мушкин Прокофию Ивановичу Погодину, владельцу трактира, расположенного около села Спаса на Углу. Они пригласили меня с собою на тележку, взялись довезти до усадьбы и целую дорогу рассказывали мне про то, что видели, как я лечу и спускаюсь и что „этакая комета в первый раз к ним прилетела", и они, хотя и выражаются таким простым языком

и не знают, как называть машину, на которой я прилетел, но понимают, в чем дело, знают, что это, должно быть, для затмения полетели из Москвы, слышали даже об этом, что всем об'яснят и в кармане у них есть даже книжка о затмении, которая им многое об'яснила. Действительно, в кармане оказалась брошюра о затмении нашего почтенного профессора И. А. Клейбера, очевидно весьма сильно распространившаяся в области, где должно было быть полное солнечное затмение. Здесь оно совершилось при небе вполне чистом, и все жители очень ясно видели все, нисколько не боялись, потому что в селе здесь священника очень уважают, а он подробно многим и очень часто рассказывал о том, что́ произойдет, и предупреждал об естественности и неизбежной необходимости того, что̀ должно произойти. Ехали мы тихо, и мои спутники об'яснили причину этого тем, что их лошадь сегодня сделала уже много верст, и что только по настоянию одного из них, несмотря на усталость лошади, все-таки стали следить за шаром для того, чтобы непременно застать его в момент спускания на землю. Чрезвычайно картинно описывал все дело именно Андрей Прохорович. Он называл аэростат не иначе, как кометою, и описывал подробно, какую быструю смену ощущений произвело в нем все виденное. Он даже говорил, что необыкновенно счастлив тем, что сразу разобрал в чем дело, и во всю жизнь свою никогда этого не позабудет. Потребовал даже, чтобы я у него на книжке о солнечном затмении написал свою фамилию, день и число, а также просил, чтобы я ему дал свою фотографическую карточку. Прокофий Иванович очень звал заехать к нему в трактир, но около него уже встретил нас и повел к себе Василий Дмитриевич Салтыков. В пути узнал, что его усадьба старинная, и что помещики эти здесь старинные, всеми уважаемые, что теперешний владелец человек молодой, семейный, круглый год живет в усадьбе, рассказали, и сколько деток, и что здесь провел детство наш известный писатель Салтыков-Щедрин, и что вся эта местность любит и уважает своих старинных помещиков. Вступив в дом Василия Дмитриевича, я был поражен не одним приветливым приемом хозяев, но и всею обстановкою, которая показывала, что здесь старина отлично ужилась с новым. Дом старинный

деревянный, но громадный, с огромными залами, с лишними комнатами. Мебель местами старинная, добродушие старинное, а люди молодые с понятиями также молодыми и с доброжелательством вполне русским. Тут отдохнул не только физически, а всей душой. С большою охотою взялись хозяева отправить те депеши, которые спешил написать, чтобы успокоить, прежде всего, свою семью, а потом и многих лиц, оставшихся в Клину в большом беспокойстве о том, что́ произойдет при полете. Послал также депеши к военному министру и в Техническое Общество. Хотелось в них сказать, что даже аэростат весь целехонек остался, да оставил это выражение, чтоб его как-нибудь неверно не истолковали. Пока писались депеши, пока мое пальто было приведено в сколько-нибудь возможный для возвращения вид, и пока хозяйка распорядилась угостить меня завтраком — прошло должно быть, часа полтора. Тогда мы отправились все вместе с маленькими детьми хозяев к месту спуска аэростата, и за нами еще все-таки бежал народ, а там на месте мы нашли громаднейшую толпу, думаю, что было человек до тысячи или и больше. Шар лежал уже пластом по земле, корзинка была отстегнута. Урядник давно уже был там. Он встретился нам на пути, когда я ехал с Спас-Угол. Сидя верхом на лошади, он обскакал шар для того, чтобы народ отошел от него, заботился все время о том, чтобы шар никоим образом не повредили, чтобы никто не курил и таким образом, нам удалось вполне благополучно уложить шар в приехавшую нарочно для того тележку. В другую тележку положили корзинку, якорь и другие принадлежности аэростата. Здесь я встретил Егора Григорьева и услыхал, что когда он в первый раз захватил веревку, его приподняло вместе с аэростатом в воздух, а он все же конец веревки не бросил, и лишь только шар опустился, успел конец веревки замотать за ближайшее дерево, что и служило одною из причин хорошего окончания спуска. Когда укладка кончилась, староста и десятский стали просить на водку народу за охранение аэростата. Хотел сейчас же вынуть деньги, но Василий Дмитриевич посоветовал сделать это у него дома и велел им прийти к нему. Здесь меня двукратно посетили такие лица, которые считали себя охраните-

лями аэростата, и я, конечно, был очень рад увеличить их праздничные чувства соответственной прибавкою к заработку соседнего трактирщика, который был еще тут и прямо советовал им не давать, потому что, говорил он, деньги только увеличат кутеж этого дня, и без того для них, во многих отношениях, памятного и примечательного. Депеши прямо от аэростата были отправлены с верховым, меня, однако, предупредили, что до Калязина верст 30 и раньше, как часам к шести — депеши не могут поспеть. Такой уж тут угол. А очень хотелось успокоить относительно своего спуска и также судьбы аэростата, случайно попавшего в мое распоряжение. Мне удалось так опустить аэростат, что он не получил никакого повреждения, нередко случавшегося с аэростатом в момент опускания на землю. Хотелось мне самому привезти аэростат назад, но увидел скоро, что операция укладки при столь праздничной обстановке, какая была в селе, не может быть скоро и спокойно совершена, и самая отправка была бы не вполне безопасна для целости аэростата, потому что его пришлось бы везти верст 70 сравнительно скоро, так как мне хотелось самому ехать, чтобы скорее быть дома. Был очень рад поэтому, когда, благодаря вниманию В. Д. Салтыкова, оказалось возможным оставить аэростат и все его принадлежности у него в имении с тем, что за ним прибудет или г. Кованько, или то лицо, которому он поручит это дело. Это позволило мне немедленно поспешить отъездом.

Возвратившись с аэростатом на усадьбу, сдав его и отобедавши с добрыми хозяевами, стал спешить к дому, тем больше, что узнал о путях, которыми можно было добраться до Клина. Близко оттуда, верстах в 20, протекает Волга, но до ближайшей пристани на ней, т.-е. до Калязина, было 30 верст, и мне не советовали туда отправляться, потому что пароходы на Волге, говорят, идут теперь в августе неправильно, хотя воды в этот год много, и, может быть, придется сутки или двое ждать первого проходящаго парохода. Посоветовали отправиться на Троице-Сергиевскую Лавру, лежащую на Ярославской железной дороге, хотя до нее больше 70 верст и дорога очень плоха — однако это скорейший и верный путь. Можно было бы, конечно, ехать и прямо на Клин чрез Зави-

дово или через Дмитров, но этот путь считается еще более плохим, чем в Троице-Сергиевскую Лавру. На этом пути можно, по крайней мере, всегда найти ямщиков, и Василий Дмитриевич взялся отправить меня на своих лошадях до ближайшего села Михайловского, лежащего на большой дороге, ведущей к Троице-Сергиевской Лавре. Этот путь мы сделали еще совершенно засветло, но в Михайловское прибыли часу в восьмом, около заката солнца. Нашли ямщика, и я отправился по столбовой дороге, но такой столбовой дороги, как эта, мне не приходилось еще встречать. Целые версты с промежутками несколько десятков саженей здесь тянется гать, уложенная вся бревнами, так что нет никакой возможности хоть на одну минуту забыться, при том устатке, который я неизбежно чувствовал от прошлого дня. Полная тьма скоро наступила, и ямщик мой требовал непременно остановки, потому что действительно не видно было ни зги. Мы было постучались в один деревенский трактир, но неприветливые хозяева не взялись даже поставить самовар. Поехали кое-как дальше, и по ступицы в воде мы добрались до какого-то другого трактира около озера Сумизкого в деревне Федорцевой, где славный услужливый и очень интересный земский деятель, бывший ямщик Борисов, содержит постоялый двор. Если б на моем месте был кто-либо другой, умеющий передавать рассказы о деятелях наших захолустьев, он бы много почерпнул из рассказов, слышанных мною от г. Борисова, когда мы занимались с ним чаепитием. Не мне описывать также и то, как утром ямщик передал меня другому, полупьяному, как мы доехали по глубоким колеям до Троицы, как для сокращения пути поехал мой возница по пашне, как он отделывался от нареканий за это, как я рад был уснуть в вагоне железной дороги, как, проснувшись, услышал разговоры про мой полет и т. д.

Возвратившись в Клин, встретил многих ждавших меня и узнал, как много беспокоились обо мне и как отыскивали."

Дмитрий Иванович просил, чтобы я не присутствовала при его отлете во избежание волнений и, чтобы его успокоить, я обещала. Но простясь с ним и проводив его из Боблова, я

почувствовала, что это сверх моих сил и решила ехать во что бы то ни стало, только в Клину не показываться, чтобы не волновать его. Так бывало и на публичных лекциях; он волновался, если видел меня в зале, и я всегда обещала ему, что не буду. Проводив его на лекцию, я все-таки ехала и только на другой день говорила, что была, и он не сердился. Замечательно, что в следующий раз повторялось то же, — я обещала, что не поеду, он верил, и опять на другой день я признавалась, что была.

О своем намерении ехать я сказала нашему садовнику Ефиму Хрисанфовичу Лаврову, давно уже жившему у нас. Конечно, я посвятила его в то, что в Клину надо быть осторожней и избегать встречи с Дмитрием Ивановичем.

Я выехала вместе с внучкой Екатерины Ивановны, Катенькой, ночью. Было холодно, сыро и шел мелкий дождь. Когда мы под'езжали к Клину, чуть светало. Мы увидели шар. До тех пор я видела шары только на рисунках или очень далеко. Теперь шар колыхался перед нами, как огромное серое чудовище. С ужасом смотрела я на него.

Ефим, сидевший на козлах, прервал мое созерцание шара вопросом: „А куда ехать, где остановиться?". „К городскому голове, Воронову"—подумав, ответила я. Под'езжаем к самому крыльцу дома Воронова. Я хотела выйти из экипажа, но осторожный Ефим остановил, сказав: „подождите, я спрошу".—Он поднялся на крыльцо, взглянул в окно, быстро скатился с лестницы, сел на козлы и, ни слова не говоря, погнал лошадей, куда глаза глядят. В окно он увидел самого Дмитрия Ивановича, и счастье, что Дмитрий Иванович его не успел заметить. Мы остановились у Истоминых, в лавке которых забирали товары. Оправившись, мы пошли на площадь, стараясь итти в толпе. Такую массу народа Клин, наверное, никогда не видал. Мы все время прятались в толпе. Я едва стояла на ногах, мне было жутко. Приближалась минута затмения. Вот показался Дмитрий Иванович в сопровождении К. Д. Краевича, сына Владимира и других лиц, Репин был уже тут. Народ встретил его громкими криками, даже кто-то кричал „бис". Дмитрий Иванович шел, издали казалось, спокойно. Шар был готов. Стало темнеть. Кованько ловко прыгнул в корзинку первый. Влез и Дмитрий Иванович.

Кованько скомандовал обрубить канаты, но шар не поднимался. Несколько секунд Дмитрий Иванович что-то решительно говорил и даже, мне показалось издали, взял за плечи Кованько, тот ловко выскакивает, еще несколько секунд, и шар стал плавно подыматься, унося Дмитрия Ивановича одного. Желтосерый, густой туман через минуту скрыл от нас все, и шар и Дмитрия Ивановича. Описать мой испуг невозможно. Ведь я же знала, что он летел в первый раз в жизни и что обращаться с шаром он не может уметь. Катенька и Ефим увезли меня поспешно домой в полном оцепенении. Оставаться в Клину я не могла, потому что оставила дома моих маленьких детей-близнецов, из которых девочку Мусю [1]) я кормила сама. Началась моя агония и паника не только всего нашего дома, но и всех соседей и крестьян.

Вестей не было. В Клин была прислана кем-то телеграмма: „Шар видели—Менделеева нет". Когда получилось эта страшное известие, К. Д. Краевич лишился чувств. От меня эту телеграмму скрыли. Велосипедисты, локомотив, сам Кованько, сын Владимир [2]) ездили по всем направлениям, отыскивая хоть какие-нибудь следы. Только на другой день вечером Надежда Яковлевна Капустина привезла мне в Боблово телеграмму самого Дмитрия Ивановича: „Спустился благополучно в 9 часов утра Калязинский уезд Тверской губернии".

Дальше привожу рассказ Н. Я. Капустиной.

„Я сейчас же поехала в Боблово успокоить жену Дмитрия Ивановича. Там опять пришлось пережить тяжелые минуты. Анне Ивановне тоже сделалось дурно уже от радости, что жив и благополучен ее муж и отец ее маленьких детей.

Старший сын Дмитрия Ивановича поехал встречать отца в Москву и на другой день к вечеру привез его. Звон колокольца и бубенчиков тройки мы услышали издалека и выбежали на крыльцо встречать. Потрясенные нервы Анны Ивановны опять не выдержали, когда Владимир Дмитриевич первый вбежал на крыльцо и сказал: „Вот привез вам воздухоплавателя"—Анне Ивановне опять сделалось дурно. Двоюродные

[1]) Мария Дмитриевна Кузьмина.

[2]) Владимир Дмитриевич Менделеев, моряк, сын Д. И. от первого брака.

братья (племянники Дмитрия Ивановича) унесли ее поскорее в маленькую столовую, и там я с трудом привела ее в себя.

Дмитрий Иванович вошел в переднюю, и был слышен его взволнованный голос:

— Где Анна Ивановна? Где она?

В Клину местные жители сделали Дмитрию Ивановичу овацию на станции и по улицам, когда он ехал, и хотели выпрячь лошадей и везти его городом на себе, но он не позволил.

По соседним деревням потом бабы любили рассказывать, как „Митрий Иванович на пузыре летал и эту самую небу проломил, за это вот его химиком и сделали". [1])

1) Н. Я. Капустина-Губкина. Семейная хроника в письмах матери, отца, брата, сестер, дяди Д. И. Менделеева. Спб. 1908, стр. 224.

IX

Лондон, Кембридж, Оксфорд

В начале 1888 года Дмитрий Иванович ездил в Донецкий бассейн и изучал положение каменноугольной промышленности. Результат поездки он описал в статье: „Мировое значение каменного угля в Донецком бассейне", помещенной в „Северном Вестнике" за 1888 г.

Каменноугольной промышленностью он интересовался всегда; писал он об этом вопросе и в „Основах химии". Помню, как явились к нему тогда сын Льва Николаевича Толстого, Сергей Львович Толстой и его товарищ М. А. Олсуфьев, оба молодые люди, только что окончившие курс в Московском университете. Они приходили к Дмитрию Ивановичу спросить совета, на какое практическое дело им употребить свои силы и знания. Дмитрий Иванович направил их в Донецкий бассейн. Я застала только часть их разговора об отношении Льва Николаевича Толстого к науке. „Отец делает ошибку,—говорил Сергей Львович — из за паразитов, которые завелись в полушубке он хочет сжечь самый полушубок". Меня позвали в детскую, и я не слыхала конца разговора.

Сергей Львович, Михаил Адамович Олсуфьев и их товарищ, студент М. Н. Орлов, последовали совету Дмитрия Ивановича, ездили в Донецкий бассейн и работали там.

В это время Дмитрий Иванович предпринял обширный труд, по исследованию природы растворов; результатом этого труда является его классическое „Исследование водных растворов по удельному весу", появившееся в 1887 году. Исследование посвящено разработке веществ, при чем особенное внимание

обращено на растворы поваренной соли, серной кислоты и спирта.

„Высказанные им взгляды на строение растворов нашли много сторонников, несмотря на то, что в то же время начала развиваться новая теория растворов Вант-Гоффа и Аррениуса. Последняя обыкновенно противопоставляется „гидратной теории" Д. И. Менделеева, но по нашему мнению, высказанному еще в 1891 году и нашедшему опытное подтверждение в исследованиях некоторых ученых, обе эти теории не противоречат, а дополняют друг друга" [1]).

В первый раз Дмитрий Иванович был почтен английскими учеными в 1884 году, когда Эдинбургский Университет присудил ему степень почетного доктора прав (Doctor of Lows).

В ноябре 1888 года Дмитрий Иванович получил из Лондона письмо с лестным предложением прочесть в Великобританском Королевском Институте (Royal institution of great Britain) лекцию. Предмет чтения предоставлялся его выбору. Лекцию предложили ему написать по-русски, зная, что иностранный язык стеснил бы изложение. Перевести на английский язык согласился Вильям Андерсон, председатель механической секции Британской Ассоциации, знавший в совершенстве русский язык, так как он в юности жил и учился в Петербурге. Прочитать же за Дмитрия Ивановича лекцию в его присутствии взялся профессор химии Кембриджского Университета Дьюар (J. Dewar), который занимал в Королевском Институте место, прославленное именами Деви и Фарадея. Письмо от Королевского Института было подписано сэром Фридериком Брамвель, президентом Королевского Института. Приглашение (вообще редкое и исключительное) русского ученого было сделано в первый раз. Дмитрий Иванович его принял. Вот что он писал потом в предисловии к первому изданию его лекций в Королевском Институте и „Фарадеевского чтения", о котором будет сказано дальше. „Я с величайшей охотой принялся за составление чтения для Лондонского Королевского Института, зная, что между слушателями встречу наименее предубежденности и наиболее той научной свободы, которая

[1] Ив. Каблуков. „Дмитрий Иванович Менделеев".

необходима для того, чтобы принять возможность примирения структурных воззрений с одним из бессмертных начал Ньютоновых „Principia“, что я предполагал сделать в чтении, назначенном в Королевском Институте. Мой ум давно ласкала мысль прямо приложить третий принцип бессмертного Ньютона к пониманию механизма химических замещений; я говорил об этом на своих лекциях, но ни разу не излагал это в отдельных статьях, а потому мне захотелось изложить перед английской публикой русскую мысль, основанную на простом, несомненном и важном начале, постигнутом гением высшего научного деятеля Англии, бывшего кембриджским профессором и председателем Лондонского Королевского Общества. Сочетать имя Ньютона с современными химическими представлениями мне казалось приличным для моего лондонского чтения.“

Только что Дмитрий Иванович ответил на приглашение Королевского Института, как к нему пришло другое, еще более исключительное и неожиданное: Британское Химическое Общество (Chemical Society) предложило Менделееву прочесть „Фарадеевское чтение“ (Faraday Lecture); при этом приглашавшими было заявлено желание, чтобы темой чтения был „Периодический закон химических элементов“.

После смерти Фарадея, в память его великого имени, Английское Химическое Общество приглашает иногда иностранных ученых в особом собрании прочесть Faraday Lecture. Об этом Дмитрий Иванович писал: „Чтение это происходит лишь через несколько лет, и призыв быть между чтецами Faraday lecture глубочайшим образом затронул меня не ради личного, а ради русского имени, которому выпала доля международной научной почести“. Химическое Общество также обещало перевести на английский язык лекцию Дмитрия Ивановича; читать ее обещал профессор, доктор Армстронг.

Одним словом, условия те же, что и в Королевском Институте. Приглашение на эти торжества уполномочен был передать Дмитрию Ивановичу лично Вильям или, как он любил, чтобы его называли, Василий Иванович Андерсон. Для этого он приехал в Петербург. В приглашении упомянута была жена лектора, а потому Дмитрий Иванович решил взять меня с со-

бой. Вся семья наша была в это время в Боблове; дети оставались в надежных руках — с ними была бабушка, моя мать, и Надежда Яковлевна Капустина, племянница Дмитрия Ивановича, любившая всю нашу семью.

Мы поехали. Дмитрий Иванович должен был заехать в Париж дней на восемь. Там я увиделась с моими друзьями, семьей Сергея Петровича Боткина. Марья Сергеевна, старшая дочь от второго брака, сказала мне, что в Париже есть много частных мастерских, где преподают лучшие художники; она сама посещала такую мастерскую на Монпарнассе (Academie Vitti), где руководил мастерской Рафаэль Коллен, ученик Бугро и Кабанеля. Коллен имел много наград за свое искусство, а на Всемирной выставке Grand prix (первую награду). Он постоянно выставлял в Парижском Салоне, в Champs Elysèes. Живопись его очень тонких и нежных тонов. Из более известных его картин можно назвать „Идиллия", „Дафнис и Хлоя", „Лето", „Флореаль", которые находятся в Люксембургском Музее в Hôlel de la Ville. Коллен очень известен также своими прекрасными работами по фарфору. Я попросила Марию Сергеевну взять меня с собой, когда поедет в мастерскую. Она обещала и исполнила это. Целую неделю я наслаждалась работой в прекрасной мастерской, с прекрасным светом и под руководством такого художника, как Коллен; в то время он вполне удовлетворял мой, еще наивный художественный вкус. Но надо было ехать в Англию. С грустью оставила я мастерскую, увозя мечту когда-нибудь поработать в Париже серьезно. Дмитрий Иванович свои дела окончил, и надо было торопиться ехать к цели путешествия.

Переезд через канал был для меня неблагополучен. Дмитрий Иванович никогда не страдал от качки и очень хорошо себя чувствовал на море, а я все время лежала, а при высадке на берег еще сильно простудилась и привезла в Лондон ангину. Остановились мы в Charring Crosse Hotel (Черринг Кросс). У меня был сильный жар и боль в горле. Кто знает англичан, не удивится, что мы, как приглашенные ими гости, были окружены утонченным вниманием и заботливостью.

Лекция в Королевском Институте была назначена через три дня. В эти три дня я должна была поправиться не только

потому, что мне самой горячо хотелось быть на лекции, но и надо было — жена лектора, по обычаю, участвует при выходе лектора.

Прикомандированные к нам ученые немедленно представили мне доктора; доктор немедленно прописал мне несколько лекарств, в аптеке немедленно их приготовили и доставили, но что-то мне очень не хотелось их пить. Повертев пузырьки в руках, я их один за другим поставила нераскупоренными на большой умывальник за кувшин с водой, с расчетом, чтобы они были не заметны для других. На третий день мне стало лучше. Доктор радовался успеху лечения. Раскланиваясь, выходя из комнаты, он нечаянно зацепился ногой за ковер, сделал шаг в сторону и увидал всю батарею нераскупоренных пузырьков. Я сидела красная и уничтоженная; милый англичанин не сделал вида, что ничего не заметил и не вспыхнул от негодования, а добродушно рассмеялся и сострил, что преклоняется перед русским методом лечения. Рассмеялась и я, и мы расстались друзьями.

Лекция Дмитрия Ивановича состоялась, как и предполагалось, 19 мая вечером, в огромном здании Королевского Института и была обставлена в высшей степени торжественно и парадно. Председательствовал сэр Фридрих Абель, знаменитый своими позднейшими исследованиями взрывчатых веществ. Присутствовали доктор Рессель, председатель Химического Общества, д-р Монд, председатель Химико-Технического Общества, сэр Фредерик Брамвель, председатель Британской Ассоциации, профессора Франкланд, Гладстон, Крукс, Торпе, Армстронг, Ньюланд и многие другие ученые. Аудитория, в которой происходило чтение, была переполнена. Лондонское общество ожидало этих лекций, как события, и заранее стремилось запастись правом быть на них. Меня познакомили с одной лэди, которая всю зиму брала уроки русского языка, готовясь говорить с русским лектором. Дамы должны были явиться на лекцию декольтированными, а мужчины во фраках. Обо всем этом я была предупреждена В. И. Андерсоном.

Аудитория, в которой происходила лекция, очень велика. Кафедра лектора на высоте подмостков. Из дверей vis à vis к публике первым выходит президент Академии под руку

с женой лектора; он ведет ее к центральному креслу в первом ряду и занимает место рядом с ней; за ним идет лектор с ассистентом. С Дмитрием Ивановичем шел Дьюар. Они взошли на возвышение, и Дьюар, став рядом с Дмитрием Ивановичем, начал чтение.

После окончания лекции, длившейся довольно долго, и оваций автору лекции, выступил президент сэр Фридрих Абель с приветственной речью. Дмитрию Ивановичу предложили отвечать по-русски, и впервые стены Королевского Института услышали настоящую русскую речь. В ответ громовые и продолжительные аплодисменты. Взволнованный Дмитрий Иванович был очень хорош со своим одухотворенным, вдохновенным выражением лица. Никогда не видала я более простого, естественного бессознательного величия человеческого духа и достоинства при полной, искренней простоте и скромности. По выражению присутствовавших лиц, живости их оваций и привета, я думаю, что и все поддались обаянию этого совершенно чужого для них человека. Там был цвет ученого мира и интеллигенции. После лекции в соседнем зале начался раут. Профессор Дьюар взял меня под руку и, сказав, что покажет что-то, что̀ меня заинтересует, повел в актовый зал прямо к портрету Дмитрия Ивановича, который помещен на стенах этого зала. Я не могла скрыть, что это произвело на меня сильное впечатление.

Когда мы вернулись в зал раута, ко мне пробралась одна русская дама, Наумова. Она просила позволения представить какую-то лэди. Лэди очень мило и любезно заговорила со мной, но как ни напрягала я вниманье, не могла не только понять, но даже определить, на каком языке она со мной говорит. Представившая мне ее Наумова шепчет мне: „Да отвечайте же хотя что-нибудь?“ — „На каком языке?“ — шепчу я. — „По-русски, по-русски, ведь она говорит с Вами по-русски“. Наугад я стала говорить: „очень приятно“, „конечно“, „Вы очень любезны“ и прочее в этом роде. Оказалось, что она тоже в ожидании лекции, брала уроки русского языка всю зиму, чтобы иметь возможность говорить с нами. Вероятно у нее было очень много досуга. Чтобы не огорчить ее, я не могла перейти на какой-нибудь другой язык, а она упорно продол-

жала вязнуть в слишком для нее трудном русском. Особенно было забавно видеть ее старание и нескрываемое удовольствие, что вот она достигла цели и говорит по-русски.

Раут затянулся долго; было очень оживленно. Дмитрий Иванович писал об этом вечере: „Общее внимание и сочувствие выражались так просто и так симпатично, что у меня навсегда останется от этого вечера теплое и радостное воспоминание". Чтение в Институте происходило в пятницу. В субботу, по просьбе Василия Ивановича Андерсона, мы поехали к нему. Он жил с семьей в загородном доме, как почти все состоятельные люди Лондона. В назначенный день он приехал за нами. Май месяц в Англии всегда хорош, и так приятно было ехать в открытом экипаже по улицам Лондона до самого конца города-великана, проехать пригород из фабрик и заводов и выехать на дорогу с красивыми домами и домиками, садами и садиками английского стиля. Проезжая мимо церкви, Василий Иванович предложил нам ее посмотреть. Службы не было, церковь была пуста, и только одна молодая девушка, вся в черном, украшала гирляндами цветов чашу с водой и крест. Это была мисс Андерсон, одна из дочерей Василия Ивановича. Мы познакомились, и она вместе с нами поехала домой. По-русски она, конечно, не говорила, была типичной английской мисс—милой, скромной.

Жена Василия Ивановича была англичанкой до мозга костей. Дом — типичный загородный дом зажиточного англичанина. Кроме нас, был пастор той церкви, которую мы видели. Дмитрий Иванович с хозяином дома ушли в его кабинет, а мы и пастор с нами стали играть в лаун-тенис. Раздался гонг, мы оставили игру и пошли в столовую. Дмитрий Иванович с Андерсоном были уже там. Неожиданным эффектным сюрпризом за обедом был настоящий русский борщ со свеклой, сметаной и пирогом. Василий Иванович, как я уже говорила, жил долго в России, заимствовал кое-что из русской жизни и теперь воспользовался случаем, чтобы удивить нас. После обеда Василий Иванович пригласил нас на интересное зрелище игры в крокет. Он подарил рабочим соседнего завода большую площадь земли специально для этой любимой национальной игры и мог надеяться, что рабочие окажут ему любезность,

придут по его приглашению показать эту игру нам, иностранцам. На очень большой площади играющие разбиваются на четыре группы друг против друга, крестом, с лопатками и мячами (как в лапте), азартно играют и очень увлекаются. Бывают иногда большие состязания рабочих разных заводов, корпораций, поселков. Меня интересовали не подробности игры, а сами рабочие—рослые, бодрые, ловкие и здоровые. Игра затянулась, и мы в Лондон возвратились довольно поздно.

Воскресенье мы провели у Монд, вместе с профессорами Рамзаем, Франкландом, Браунером (из Праги) и Назини (из Рима). Ученые восхищались вновь изобретенною гальваническою батареей Монда, а я удивительною картинною галлереей исключительно старых мастеров, между которыми был и Рафаэль. За обедом я сидела между профессором Рамзаем и проф. Назини, который был очень доволен, что мог поговорить со мной по-итальянски. Он тепло и искренне говорил о своем восхищении Дмитрием Ивановичем и уверял, что голова его очень похожа на Гарибальди. В понедельник Дмитрий Иванович успел осмотреть лабораторию Рамзая в University College и богатую частную лабораторию Крукса, а мне жена Монда любезно предложила показать Лондон, главным образом, музеи, Вестминстерское аббатство. Описывать то, что так известно, не буду. Потом поехали посмотреть Войтчепель, который меня поразил. Он находится в двух шагах от Сити, промышленной, богатой части города. В Войтчепеле живет беднота, но какая! Без полиции туда не советуют и входить. Узкие улицы высоких кирпичных с закоптелыми стенами домов, окна без стекол. Обитатели этих домов живут в грязи и холоде; полуголые дети ходят без призора. Местами навалены груды отрепья, которыми торгует какая-нибудь грязная торговка; женщины худые, оборванные роются в них, чтобы найти какую-нибудь тряпку прикрыть своих почти голых детей. В тяжелом настроении вышли мы оттуда. Мне сказали, что тогда Войтчепель был наполнен эмигрантами из западных губерний России. В тот же день вечером мы получили телеграмму о болезни нашего младшего сына Васи. И хотя на другой день 4 мая должно было состояться Фарадеевское чтение в Chemical Society, мы решили немедленно ехать домой—настолько теле-

грамма была тревожна. Таким образом, Дмитрий Иванович не мог присутствовать на своей лекции. Василий Иванович Андерсон взялся передать собранию нашу тревогу, призывавшую нас домой, и огорчение в расстройстве, причиняемом нашим неожиданным от'ездом.

Нашу тревогу передать трудно. Всю дорогу думали только об одном, жив ли наш сын. Чем ближе подвигались мы к дому, тем больше росла тревога. Подымаясь к нашему бобловскому дому, мы попросили завязать колокольчики, чтобы не беспокоить больного. Какая мучительная бесконечная гора! Наконец, под'езжаем к воротам. Старая Катя наша вышла за ворота и, не дожидаясь вопросов, сама спешила несколько раз нам сказать: „Васенька жив, жив, операция сделана хорошо!" Наш удивительный доктор и прекрасный человек Иван Иванович Орлов при самых трудных условиях, в деревне, 18 верст от Клина, обставил больного ребенка идеально и сделал операцию прокол с резекцией двух ребер, так что Вася, которому было только год и девять месяцев, выздоровел, и у него не образовалось западения легкого. Выписываю из дневника Н. Я. Капустиной о нашем возвращении.

„В ночь после операции родители вернулись домой. Узнав от меня о том, что все благополучно, Дмитрий Иванович на цыпочках вошел в кабинет, освещенный заставленной лампой, и со слезами на глазах, издали, чтобы не потревожить ребенка, стал крестить его. Видя, что мальчик не спит, он подошел ближе и повторил несколько раз:

— Папа приехал, папочка твой приехал.

Было столько любви, нежности и печали в голосе Дмитрия Ивановича, что я никогда этого не забуду....

Дмитрий Иванович так любил своих детей, что всякую небольшую услугу или заботу о них ставил очень высоко, он все не знал, чем отблагодарить меня за то, что я ходила за больным его ребенком, и на следующий год сумел широко это сделать. Он дал средства на поездку моей заболевшей племяннице [1]) со мной в Крым, в Гурзуф, на всю зиму, где она и поправилась." [2])

[1]) Екатерина Константиновна Григорович.

[2]) Н. Я. Капустина-Губкина. Цит. соч., стр. 226.

А в Лондоне Фарадеевское чтение Дмитрия Ивановича состоялось. Из писем Василия Ивановича Андерсона и профессора Армстронга, из протокола заседания, из подробного отчета, помещенного в журнале The Chemical Society ond Druggist (1889, page 786) из статьи профессора Торпе (Nature № 1026) мы узнали, что все обошлось благополучно. Читал за Дмитрия Ивановича проф. Армстронг; как и предполагалось, на стене висела периодическая таблица элементов; председатель Общества доктор Рессель в начале собрания об'яснил причину нашего внезапного от'езда. После чтения вотировали послать привет и сожаление о постигшем нас горестном событии. Профессор Франкланд говорил о периодическом законе, сэр Фридрих Абель о поездке Дмитрия Ивановича в Англию. Президент Общества вручил В. И. Андерсону для передачи Дмитрию Ивановичу Фарадеевскую медаль. В. И. Андерсон от лица Дмитрия Ивановича, по его поручению, благодарил Общество за оказанную в лице его честь русским ученым. Оба Лондонские Общества прислали Дмитрию Ивановичу в Петербург две драгоценные вазы и кубок из аллюминия и золота; на кубке золотой вензель Дмитрия Ивановича, а на вазах—мой.

Забегаю немного вперед, чтобы закончить мои воспоминания об Англии.

В 1894 году Дмитрий Иванович получил вновь приглашение из Англии, на этот раз из Кембриджа и Оксфорда, где ему присудили докторскую степень. (В Эдинбурге он получил ее раньше). Его усердно звали на торжество. Дмитрий Иванович, имея в то время возможность ехать, считал неудобным отказаться от любезного приглашения. Мы поехали опять вместе. В Лондоне остановились на несколько дней все в том же Черринг Кросс (Charring Crosse), чтобы повидаться с лондонскими нашими друзьями и отдохнуть немного перед предстоявшими торжествами. Затем поехали в Кембридж. Мы должны были там поселиться у предложившего нам гостеприимство ректора Кембриджского Университета сэра Пилл. В. И. Андерсон, бывший опять нашим гидом, и другие сказали, что уклоняться от приглашения нельзя — шокинг — обида пригласившим.

Сэр Пилл и его жена не молодые люди. Дом их типично английский. Посреди двора садик со строго выдержанным ри-

сунком газона и дорожек, стены дома аккуратно обвиты плющем.

Торжество посвящения в докторскую степень ученых должно было продолжаться неделю, и всю неделю мы должны были жить в семье Пилл. Мне от души было жаль Дмитрия Ивановича, который не терпел стеснений в своем образе жизни. Зная точность англичан, я всегда торопилась встать раньше и ни на одну минуту не опоздать к девятичасовому кофе. Раз я пришла раньше и застала такую картину: хозяин дома, его жена и все слуги, человека четыре, сидели за столом, чинно и спокойно. Сам ректор, сидя на своем хозяйском месте, читал священное писание и молитвы довольно долго. Когда окончил и закрыл книгу, слуги оставили свои места за столом и начали исполнять свою службу, а хозяин принялся за свой утренний завтрак. Тут, к моему удивлению, во-время спустился из нашей комнаты во втором этаже и Дмитрий Иванович.

В торжественный день Дмитрия Ивановича я почти не видела, к нему приходили, уходили, опять приходили. Я оставлена была на попечение мистрисс Пилл. В назначенный час мы сидели в актовом зале Кембриджского Университета. Церемония получения докторской степени обставлена торжественно, блестяще и строго традиционно. Все совершается так, как совершалось в средние века. Зал переполнен публикой. Тут присутствовала принцесса Эдинбургская Алиса, мать теперешнего короля Англии.

Президент вышел в черной мантии с длиннейшим шлейфом, покрытым роскошной золотой вышивкой. Герои дня, ученые, получавшие докторскую степень, были в средневековых плащах с очень широкими рукавами и черных бархатных беретах (точный костюм Фауста). Цвет этих плащей у всех разный: у естественников и философов ярко-красный с ярко-синими отворотами, у филологов и историков фиолетовый, у музыкантов белый. У Дмитрия Ивановича был ярко-красный с синими отворотами. Но никому не шел так средневековый костюм, как ему с его длинными пушистыми волосами, с его лицом не современного типа. Недаром его называли всегда Фаустом. В тот год докторскую степень получал также принц Иоркский, теперешний король Англии. Он стоял вместе со своими кол-



L. Mendelssohn

легами по науке в таком же докторском костюме и ожидал своей очереди. Президент торжественно по-латыни держал свою речь каждому из новых докторов отдельно, перечисляя его заслуги.

Странный обычай сохраняется до сих пор на этих торжествах. Студенты, одетые также в средневековые плащи, но коротенькие, и береты, весь этот день пользуются особой свободой. Занимая места на хорах, они очень громко говорят замечания по адресу новых докторов, нисколько не стесняясь в выражениях, выкрикивают шуточные замечания и, вообще, что называется, дурят. Они поджидают момента, когда ученый, выслушав лично к нему обращенную речь президента, подходит получить из его рук свой диплом на докторскую степень. Этой минутой студенты и пользуются, чтобы крикнуть что-нибудь новому доктору. Например, принцу Иоркскому, когда он получал свой диплом, в минуту торжественной полной тишины, какой-то студент громко крикнул: „Ну, здравствуй, новый папаша"; у него только что родился сын. Но они очень угодили Дмитрию Ивановичу, когда во время торжественной речи президента, которая всегда говорится по-латыни, какой-то студент крикнул: „Да будет вам, сэр, довольно латыни, говорите по-английски". К таким выходкам корректные англичане в этот день относятся с веселыми, снисходительными улыбками,—так принято. На другой день принцесса Эдинбургская, мать только что получившего докторскую степень принца Иоркского, пригласила товарищей сына по торжеству с женами на завтрак. Он был великолепен, но, как и все такие официальные приемы, скучен; мне пришлось сидеть между совсем мне незнакомыми людьми. Было произнесено много официальных речей и тостов и за нас, жен ученых, тоже. Принцесса, удивительно моложавая, сидела за завтраком под вуалеткой, прикрывавшей верхнюю часть лица. Говоря с Дмитрием Ивановичем, она простерла свою любезность до того, что сказала: „Я напишу моей сестре (Марии Федоровне), что имела честь говорить с вами".

На третий день нам показали Кембридж. Начали с университетов, женского и мужского. Почти все колледжи в Англии помещаются в особняках, окруженных парками. В парке Кембриджского университета протекает небольшая река, по кото-

рой студенты катаются в лодках. Мне показалось, что такое устройство колледжей идеально для занятий наукой. Вдали от центра с его разного рода развлечениями, здесь ничто не мешало умственным занятиям, и все благоприятствовало развитию физическому. Все колледжи в Англии в то время были закрытые. По мнению англичан, это лучше для успешности занятий наукой.

Женский университет устроен так же, как и мужской. Студентки тоже занимаются много спортом. Курс тот же, что и в мужском колледже. Иногда бывают общие конкурсы мужского и женского колледжей. Мне сказали, что в тот год на общем конкурсе по математике первую награду получила студентка (фамилию, к сожалению, не помню). Программа недели была так составлена, что, если ученым предлагалось заседание и доклад по специально научным темам, трудным для понимания дам, то для них устраивался концерт, составленный всегда исключительно интересно. Один, я помню, состоял из средневековой музыки, исполнителями которой были наполовину студенты, одетые в средневековые костюмы. Последний музыкальный номер был взят не из средневековой музыки. Это была музыка Мендельсона, исполненная его родным внуком. Он был также в средневековом костюме, высокий, стройный с прекрасным, выразительным профилем лица. Концерт этот исполнялся в большой капелле строго средневекового стиля. Вся огромная капелла была сверху до низу украшена снопами и гирляндами ромашки, любимого цветка англичан. Красиво и оригинально.

Нас всегда сопровождал какой-нибудь распорядитель праздника, который все об'яснял. Я узнала от одного из них, что Дмитрий Иванович в то время был первым русским ученым, получившим докторскую степень в Кембридже, а также то, что только как исключение дают докторскую степень и в Кембридже и в Оксфорде, так как эти университеты противоположных направлений: обыкновенно получивший докторскую степень в Кембридже, не получит ее в Оксфорде и наоборот, — исключения редки.

Из Кембриджа мы должны были, не теряя времени, ехать в Оксфорд для такой же церемонии. В Оксфорде мы должны

были принять приглашение ректора сэра Одлинг. Жена его, уже немолодая женщина, как будто сошла с иллюстраций романов Диккенса. Он сам очень веселый, бодрый человек. Всего в нескольких часах езды от Лондона они поразительно сохранили патриархальность провинции в своем облике, костюме, доме и обычаях. У них было два сына подростка. Мистрисс Одлинг показала нам весь свой дом, который был устроен в чисто английском стиле и вкусе. Детская, как всегда у англичан, помещалась наверху, самая светлая комната в доме. Там детский рай, детей не стесняли излишней муштрой, но когда они появлялись в общество взрослых, от них требовали соблюдения приличий и вежливости. Кругом дома садик, и конечно, тоже в английском стиле. Благодаря присутствию детей было у них в семье что-то живое, веселое.

В Оксфорде в общем повторилось то же, что̀ и в Кембридже, только с новыми действующими лицами. Здание, где происходило торжество, было готической архитектуры. Зал круглый, высокий в два света, в роде храма или театрального зала. Места для публики устроены амфитеатром. Мы с мистрисс Одлинг сидели довольно высоко, и нам прекрасно была видна вся картина. Мистрисс Одлинг старалась меня предупредить, чтобы я не смущалась, если студенты будут что-нибудь кричать по адресу Дмитрия Ивановича; я ее успокоила, что познакомилась уже с этим обычаем в Кембридже, где для Дмитрия Ивановича сошло все благополучно. Зал был очень красив, орган играл торжественные мелодии, студенты с хоров выкрикивали шутки.

Началось торжество, как и в Кембридже: президент каждому получающему докторскую степень (человек 5), произносил хвалебные речи, и каждый раз, когда он кончал, студенты пользовались моментом, чтобы крикнуть что-нибудь смешное. Французу с наполеоновской бородкой кричали утрированно высоким фальцетом: „бонжур, мосье“.— Вот идет Дмитрий Иванович. Его необыкновенная голова, серьезное лицо, которому так шел средневековый костюм, вдруг произвели в остроумии и игривости студентов осечку, и он получил после сказанного ему президентом приветствия свой диплом при полном молчании, ничем не нарушенной торжественности минуты. Мистрисс

Одлинг с сочувственной улыбкой взглянула на меня. Трудно представить себе что-нибудь красивее и величественнее такого зрелища. Несмотря на необычайные костюмы ученых, на звуки органа, торжественные речи, не было никакой театральности; казалось, что современные костюмы были бы банальны и не соответствовали бы торжественности. В Оксфорде также праздник продолжался неделю по программе, давно обдуманной. Процессия докторов должна была из какого-то пункта итти в Университет по улице. Одетые уже в свои средневековые костюмы, они шли парами. С этого шествия снята фотография. Она находится в кабинете Дмитрия Ивановича в университете; Дмитрий Иванович там похож, но у всех на головах черные бархатные береты, один он с непокрытой головой; это потому, что на его голову не влез ни один берет, все они ему были малы, и он несет свой берет в руках. Наконец, после двух недель торжеств, раутов, знакомств, в высшей степени интересных, но утомительных, все было окончено. Мы простились с нашими милыми хозяевами Одлинг, со многими новыми друзьями и уехали в Лондон. С нами был Ф. И. Блумбах из Палаты Мер и Весов. Провожали нас очень дружески и тепло. Никогда не забуду забавного вида Дмитрия Ивановича, когда мы втроем с Ф. И. Блумбах остались, наконец, одни в купе вагона. Две недели торжеств, жизни в непривычной, чуждой обстановке так были тяжки ему с его самобытным характером, что он не знал, как выразить радость свободы. Он бросался на диван, раскидывался, вскакивал, опять бросался на диван, наконец, схватил из кармана какие-то мелкие английские деньги, сколько попало в руку, и вдруг выбросил их в окно, так ему нужно было отвести душу в каком-нибудь нелепом непредписанном правилами поступке. Мне он был очень понятен в ту минуту. Но надо было видеть Ф. И. Блумбах. Он даже побледнел от изумления. Тут я подала пример, и мы начали хохотать, как негры.

X

Уход из университета

В 1890 году совершилось важное событие в жизни Дмитрия Ивановича и университета: Дмитрий Иванович должен был прекратить свои лекции. Случилось это так. В университете между студентами начались волнения. Они начали устраивать в университете сходки, говорить речи и волновались. В таких случаях Дмитрий Иванович ходил на собрания студентов, слушал их и часто говорил с ними. Студенты его любили, несмотря на то, что он говорил резко; они знали, что он всегда говорил правду, ничего и никого не стесняясь. Смуты и сходки в 1890 году упорно не прекращались. Наконец, появилась полиция. В то время, как наверху бушевала многолюдная сходка, жандармы оцепили университет; дело принимало серьезный оборот, надо было ожидать схватки, арестов и затем исключений. Квартира наша (там, где теперь кабинет Д. И. Менделеева) была с главного входа; шум сходок всегда у нас бывал слышен; даже можно было от нас определить приливы и отливы бурных настроений.

Дмитрий Иванович пошел наверх на сходку, чтобы предупредить печальный исход. Он предложил студентам изложить их желания письменно, а сам брался отвезти их петицию министру. Студенты согласились, передали петицию Дмитрию Ивановичу и мирно разошлись. Столкновение с полицией со всеми возможными последствиями было предупреждено. Желания, выраженные студентами, были исключительно академического характера. Дмитрий Иванович отвез петицию министру И. Д. Делянову. Министр возвратил ее ему при сопроводительной бумаге такого содержания:

„По распоряжению министра просвещения, прилагаемая бумага возвращается профессору Менделееву, так как ни министр и никто из состоящих на службе его императорского величества не имеет права принимать подобные бумаги. 26 марта 1890 г."

Дмитрий Иванович был к этому готов. Когда он ехал к Делянову с петицией, на всякий случай написал прошение об отставке и имел его в кармане. Получив от Делянова такой ответ на свое ходатайство за студентов, он немедленно послал прошение об отставке.

Вильям Тильден, английский биограф Дмитрия Ивановича писал об этом: „Бестактный ответ министра, последовавший вместо благодарности — простая препроводительная надпись с отказом от рассмотрения петиции и возобновившиеся после этого беспорядки вынудили Дмитрия Ивановича подать прошение об отставке".

Как всегда твердый в своих решениях, Дмитрий Иванович тотчас отыскал квартиру (на Кадетской линии). Желая смягчить переход с казенной на частную квартиру, он, отправив нас в деревню, приложил все старания, чтобы наша новая квартира была уютна, особенно моя комната. Возвратясь осенью из Боблова и войдя в эту новую квартиру, мы были приятно удивлены: так хорошо все было устроено. А я, зная, какую массу труда надо было вложить, чтобы перевезти столько вещей и книг, была тронута, как Дмитрий Иванович самоотверженно взял этот труд на одного себя. Я долго не могла опомниться. Опять удар оттуда, откуда нельзя было его ждать—из Министерства Народного Просвешения. Когда-то оттолкнула Дмитрия Ивановича Академия Наук. Все Академии мира имеют в числе своих членов Д. И. Менделеева, но только не Петербургская.

В бытность министром народного просвещения Д. А. Толстого он изготовил свой проект преобразования гимназий. Проект обсуждался в комиссиях. Д. И. Менделеев, тогда профессор Петербургского университета, со свойственной ему горячей правдивостью, разносил чреватый многими бедами для России проект. Д. А. Толстой был уязвлен в своем авторском самолюбии и пустил в ход все пружины, чтобы насолить своему

оппоненту, задавить его, даже стереть его с лица земли... Толстой направил на Менделеева полицию. Дмитрий Иванович был окружен, опутан тонким сыском; каждое слово его заносилось в секретные рапорты, за каждым шагом следили. Градоначальник вызывал Дмитрия Ивановича к себе и, похлопывая рукой по об'емистому „делу" в синей обложке, говорил: „У меня уже вот какое дело за два года набралось о вас. Тут все есть: все ваши разговоры, действия и тому подобное. Теперь мне нужно составить доклад". Но как ни бился его враг, а ничего не вышло. Граф Толстой принимался за Менделеева с разных сторон, но все безуспешно. Не раз он приглашал Менделеева на обед, но профессор всегда оказывался болен в назначенный день, и эти приглашения министра ни к чему не привели, сближения никакого с оппонентом не произошло.

Но то, чего не мог сделать всесильный министр, задержавший в ежовых рукавицах прогресс России, то сделал президент Академии Наук, все тот же гр. Толстой. Поставлена была кандидатура Д. И. Менделеева в члены Академии. Граф Толстой распорядился строго не выбирать Менделеева. Баллотировка дала отрицательный результат. Возникла легенда о том, что немцы провалили Менделеева в родной Академии, что немецкое засилье восторжествовало столь обидным для русских образом. Даже перед смертью гр. Толстой завещал Веселовскому: „Только помни, Менделеева ни под каким видом не избирайте в Академию".

Впоследствии Академия все-таки выбрала Д. И. Менделеева в свои члены, но он сам отказался, не дав своего согласия на выборы. В обществе говорили, что „Менделеев отставил от себя Академию".

А сколько энергии, усилий, ума было затрачено, чтобы добиться, например, постройки приличной химической лаборатории в университете. Как радовался Дмитрий Иванович, когда это удалось, когда была закладка нового здания в университетском саду, и он мог бы начать работать в хорошей лаборатории. Ведь до тех пор он работал в неудобной, тесной и бедной инвентарем лаборатории.

Я старалась не показывать Дмитрию Ивановичу, как за него огорчалась. Да и самой мне было больно уходить из

университетской квартиры, в которой пережито столько хорошего, где родились все мои дети... Сам Дмитрий Иванович был бодр, я заметила даже особенный под'ем духа.

„Настойчивая просьба товарищей не смогла его заставить изменить раз принятого решения: со стороны же министра не было сделано никаких шагов для того, чтобы загладить свою вину перед Менделеевым, и чтобы вернуть университету его лучшее украшение". [1])

[1]) Проф. Чугаев. Д. И. Менделеев.

XII

Последние годы жизни Менделеева.

Почти насильно оторванный от науки, Дмитрий Иванович посвящает свои силы практическим задачам. Одно время он собирался издавать большую ежедневную газету, под названием „Под'ем", но министр Делянов не разрешил этого издания. По причинам, известным только ему, Делянов согласился разрешить издание лишь промышленной газеты и то только при условии предварительной цензуры.

Выйдя из университета, Дмитрий Иванович продолжал работать по разным вопросам химии, физики и техники, но, кроме того, начал интересоваться вопросами экономическими и государственными.

Он принимал участие в изданиях, служащих распространению научных и технических знаний, сам писал статьи по вопросам химии и техники в энциклопедическом словаре Брокгауза; под его редакцией вышла „Библиотека промышленных знаний". Издал свои „Основы фабричной промышленности" и т. д.

В 1890 году назначенный членом Совета торговли и мануфактуры, Дмитрий Иванович принимает деятельное участие в разработке таможенных тарифов. В 1891 году выходит его, по выражению проф. Чугаева, „замечательная книга"—„Толковый тариф", в которой он делает обзор нашей промышленности, указывает на ее нужды, говорит об открывающихся ей перспективах. Он доказывает там, что для России настало время развития обрабатывающей промышленности.

„В 1890 году Дмитрий Иванович принимает участие в разрешении финансовых и экономических вопросов. Но он ни-

когда не смотрел на покровительственную политику министерства с узкой точки зрения: он прекрасно понимал, что нельзя создать промышленности, не подняв благосостояния потребителя продуктов этой промышленности — русского крестьянина. Позднее свои мысли о значении для нас промышленности и рационального земледелия он развивал в сочинениях: „Заветные мысли“ (1903—1906 гг.) и „К познанию России“ (1906) [1]).

Помню, как, сдав последнюю корректуру „К познанию России“, Дмитрий Иванович приехал в Боблово и, довольный этим, говорил нам: „Ну вот теперь и отдохну с вами; как хорошо тут. Напечатать-то я должен был — знаю, но знаю, что читать едва ли будут“. На этот раз он ошибся. Не прошло трех недель, как известили из Петербурга телеграммой: „Издание разошлось, распорядитесь дальше“. Пришлось ехать опять, не отдохнув, как хотелось.

„В 1891 году Дмитрий Иванович был командирован в Англию и Францию для выработки типа бездымного пороха, но и здесь он проявил свой оригинальный ум: он не берет для перевооружения нашей армии и флота готовые образцы заграничного бездымного пороха, а создает совершенно оригинальный тип пороха пироколлодойного“. [2])

„Представленный им пироколлодий оказался превосходным типом бездымного пороха, притом универсальным и легко приспособляемым ко всякого рода огнестрельному орудию“. [3])

„В том же году он назначен был консультантом морского министерства по пороховым вопросам — и некоторое время состоит во главе научно-технической лаборатории морского ведомства, имевшей целью разработку вопросов о взрывчатых веществах и исследовании их.“ [4])

В 1896 году Дмитрий Иванович принимал большое участие во Всероссийской выставке в Нижнем-Новгороде, где

[1]) „Известия Технологического института“.

[2]) „Известия Технологического института“.

[3]) Проф. Чугаев. Д. И. Менделеев.

[4]) Мне говорили военные люди, что за последнюю войну единственный порох, который не давал самовзрывания, был только русский, над которым работал Дмитрий Иванович.

ему приходилось сталкиваться с промышленниками-капиталистами, интересы которых не всегда совпадали с общими интересами.

Мне рассказывал очевидец, как на одном собрании, на котором Дмитрий Иванович, делая доклад, говорил что-то не в пользу крупных капиталистов. Желая сорвать собрание, несколько лиц из недовольных встали, и один сказал: „Ну, что там, мы это потом проголосуем".

Дмитрий Иванович на минуту остановился, потом, подняв руки кверху, сверкнув своими синими глазами, со свойственной ему одному выразительностью и силой, своим громовым голосом вскрикнул: „В первый раз слышу, чтобы истина решалась большинством голосов". Произошло смущенье, зал притих, купцы сели, и Дмитрий Иванович докончил свой доклад при громе аплодисментов. Принимал он также участие в выставке в Чикаго в 1899 году и в Парижской в 1900 г.

„В 1893 году по инициативе Дмитрия Ивановича была учреждена при Министерстве Финансов Главная Палата Мер и Весов, управляющим которой Дмитрий Иванович состоял в течение 14 лет до самой смерти. Эта Палата имела целью восстановление и хранение прототипов мер и весов, принятых в России, хранение копий с иностранных образцов, выверку измерительных приборов, составление сравнительных таблиц русских и иностранных мер и т. п. Но преобразованное Дмитрием Ивановичем учреждение не могло не преследовать и научных задач. Результаты полученных в Палате данных публиковались во „Временнике Главной Палаты Мер и Весов", которого по 1907 год вышло 7 выпусков. В этом издании помещены Дмитрием Ивановичем следующие статьи: „Вес литра воздуха", „Вес определенного об'ема воды", „Ход работ по восстановлению прототипов или образцовых мер длины и веса", „О приемах точных или образцовых мер длины и веса", „О приемах точных или метрологических взвешиваний", „О колебании весов" и проч.

Еще ранее, в бытность профессором университета, Дмитрий Иванович сделал существенные усовершенствования в точных весах, так что лучшие в настоящее время весы Рупрехта конструированы по указаниям Менделеева. Усовершенствова-

ния эти продолжались Дмитрием Ивановичем и в бытность его управляющим Палаты Мер и Весов" [1]).

В 1897 году Дмитрий Иванович задумал издавать „Основы фабрично-заводской промышленности", но успел написать только первый выпуск „О топливе" [2]). В 1900 г. он начал издавать „Библиотеку технических знаний".

В 1899 году Дмитрий Иванович ездил на уральские заводы, результатом этой поездки явился обширный труд о состоянии уральской промышленности. Письма его оттуда ко мне были в высшей степени интересны [3]). Посетил он тогда и свой родной Тобольск, где родился и провел свое детство. Об этом посещении он не мог говорить без сильного волнения. Он видел там нескольких крестьян, своих ровесников, с которыми играл в детстве. Есть фотография Дмитрия Ивановича среди этих крестьян.

В общем, образ нашей жизни не изменился. Дмитрий Иванович продолжал гореть в работе; дети — старшие учились, близнецы уже ходили. У меня теперь была помощница, француженка, м-elle Флешман, и я нашла, наконец, возможность заняться рисованием.

Совсем я никогда не бросала живопись, но могла работать только урывками, что́ я и делала, но всегда с таким чувством, как будто что-то от семьи краду, время, внимание.

Скоро при Палате были построены два дома: лаборатория и помещения для служащих. Наша квартира была в одном из них, в 3-м этаже. Здесь Дмитрий Иванович продолжал свои научные работы; в 1905 году он написал и выпустил в печать „Заветные мысли"; в различных главах этого издания им затронуты вопросы о значении сельского хозяйства для развития современного благосостояния, о народонаселении, о внешней торговле, о фабриках и заводах, о войне с Японией, об образовании, преимущественно высшем, о подготовке учителей и профессоров, о промышленности и т. д.

В 1906 году вышло его сочинение „К познанию России", в котором он излагает свои мысли по поводу данных всерос-

[1]) „Известия Технологического института".

[2]) Он просил меня сделать обложку этого издания, что я и исполнила.

[3]) Они пропали вместе с другими письмами в 1918 году.

сийской переписи 1897 года. Сочинение разделено на три главы: 1) Важнейшие вопросы, относящиеся к России и ее частям; 2) О центре России (Д. И. в этой главе дает метод определения центра населенности России и центра поверхности); 3) О карте России. Это сочинение в течение только четырех месяцев выдержало четыре издания.

Это он писал, когда мы жили уже в Палате, на Забалканском.

Дмитрий Иванович работал — горел все попрежнему, но зрение стало ему изменять. При чтении он стал прибегать к большой лупе. Левый глаз Дмитрия Ивановича был поражен, как сказал доктор Костенич, катарактой. Он должен был всегда иметь очки: для работы за столом — одни, для смотрения вдаль — другие. А чтобы достать какую-нибудь книгу с нижней полки надевал маленькие очки. За границей ему сказали, что у него может быть темная вода, но в Петербурге Костенич это отрицал; он сказал, что на глазу катаракта, надо сделать операцию, и Дмитрий Иванович опять будет видеть.

Дмитрий Иванович в ожидании операции, пока катаракта не созрела, должен был работать с секретарем. Он терпеливо переносил потерю зрения. Диктовал секретарю свои „Заветные мысли", слушал чтение. Особенно часто ему читала наша младшая дочь Муся (Мария Дмитриевна Кузьмина). Она читала ему романы с приключениями, особенно из жизни краснокожих индейцев и очень часто Рокамболя, Жюль Верна, и странно, что он мог слушать по несколько раз одно и то же с интересом. Ракамболя ему читали бесчисленное множество раз. За таким чтением он отдыхал, всякое же другое, серьезное или лучшие художественные произведения его волновали, и отдыха не было. Зимой 1903 года Костенич сказал, что катаракта на глазу созрела, и можно делать операцию. Мы все мучительно тревожились; при исключительной нервности Дмитрия Ивановича можно было ожидать и неудачи. Условия для операции были очень трудные. Дмитрий Иванович не хотел ложиться в больницу. Приспособить обыкновенную квартиру и обстановку для операции было, конечно, очень трудно. Но самая главная трудность — исключительная нервность Дмитрия Ивановича. Помню, как, затаив дыхание, я ожидала окончания

операции в соседней комнате. Через несколько времени вижу, выскакивает Костенич из комнаты, где он делал операцию, красный, страшно взволнованный, почти плачущий и бросается на первый попавшийся диван. „Что такое?“ Смотрит на меня с отчаянием. Дмитрий Иванович в последнюю минуту толкнул его руку, и Костенич не знал, какие будут последствия. К великому счастью все обошлось благополучно. Доктор до толчка успел сделать что нужно. Операция была сделана блестяще. Лежать Дмитрий Иванович не хотел. Повязка надоедала ему, но удалось все-таки выдержать его, сколько следует. В день снятия повязки волновались все, а сам Костенич больше всех. Он хотел, а может быть, и сам Дмитрий Иванович выразил желание, чтобы первое, что он увидит, была я. Меня позвали. Доктор поставил меня перед Дмитрием Ивановичем и снял повязку с глаз. Дмитрий Иванович меня увидел. Потом подходили дети. Отказываюсь описать эту минуту. Под наблюдением Костенича зрение Дмитрия Ивановича восстановилось, и он с прежней энергией стал работать. Во время болезни глаз Дмитрий Иванович все-таки не мог сидеть без дела и начал клеить ощупью всевозможные вещи, что он делал и раньше в минуты отдыха от утомительных умственных напряжений: чемоданы, рамки, столики. Все это сделано замечательно правильно. К счастью, две работы этого времени, столик и чемодан, уцелели и находятся у меня. Принадлежности для кожаных работ Дмитрий Иванович всегда покупал в одном и том же магазине на Апраксином рынке. Раз, когда он, сделав покупку, выходил из магазина, какой-то бывший в магазине покупатель спросил купца: „Кто это?“ — Купец с важностью ответил: „А это известный, знаменитый чемоданных дел мастер“.

В 1904 году 27-го января исполнилось 50 лет научной деятельности Дмитрия Ивановича, и ему исполнилось 70 лет.

Многочисленные депутации приезжали целый день: от университета, женских курсов, на которых Дмитрий Иваневич в начале их существования читал бесплатно, Горного Института, Технологического, от разных ученых обществ и даже от Академии Наук.

Но Дмитрий Иванович был грустен, нервен. В эту ночь было получено известие, что началась японская война, что

несколько судов потоплено, как всегда, молва преувеличивала и говорила — весь флот. Дмитрий Иванович говорил об этом и заплакал: „А если вступятся и придут в Кронштадт, и я пойду воевать". Мою тревогу и грусть о расстроенном состоянии Дмитрия Ивановича поняла Варвара Павловна Тарновская, представительница Высших Женских Курсов. Она подошла ко мне, пожала руку и прослезилась.

Приветственные телеграммы и письма были присланы Дмитрию Ивановичу в тот день со всех частей света. Вскоре после юбилея он стал отвечать на них частью сам, частью через секретаря. Надежда Яковлевна, его племянница, слышала как он сказал: „Не могу я напечатать в газетах, что не имею возможности поблагодарить лично, потому что я имею эту возможность". Вечер этого дня Дмитрий Иванович провел исключительно с нами.

Война разразилась. Дмитрий Иванович тревожился и огорчался. Я тоже, кроме обычных занятий, ничего делать не могла жадно читала газеты и следила за войной.

В это время обнаружилось какое-то злоупотребление в Красном Кресте. Возмущенное общество, желавшее посильно помогать солдатам, организовало свой кружок. Набралось много членов, обещавших делать ежемесячные взносы. Когда собрано было довольно много денег, стали думать о том, как их лучше употребить. Решено было просить кого-нибудь из своих членов ехать ближе к театру войны, на месте все исследовать и лично без посредников распорядиться деньгами.

Мария Сергеевна Боткина первая вызвалась ехать, но второй не находилось, и дело затянулось. Передать деньги в распоряжение какого-нибудь лица, хотя бы и очень высокопоставленного, Общество не желало. Мария Сергеевна зашла ко мне и все это рассказала. Я томилась бездействием; нельзя же было считать большим делом наше шитье солдатского белья и посылки подарков солдатам. У меня явилась мысль ехать с Боткиной.

Надо было добиться согласия Дмитрия Ивановича и устроить на время моего отсутствия дом. Последнее мне казалось не так трудно. Вся прислуга у нас была старая, добрая и относилась к нам, как члены нашей семьи. Екатерина Никифо-

ровна Комиссарова, например, жила у нас с первого года моего замужества. M-elle Флешман жила у нас уже 10 лет. Все относились к нам сердечно. Дмитрий Иванович в смысле ухода был в таких же хороших условиях. Разлука. — Но ради такого дела можно же было принести какую-нибудь жертву. Собравшись с духом, я открыла Дмитрию Ивановичу мое желание. Я знала, что в первую минуту будет взрыв. Он и был. Но редко добрый и душевный человек, Дмитрий Иванович понял, что, хотя я и не спорю, но огорчена. Сам проникся моей идеей и на третий день нашего первого разговора сказал, что согласен отпустить меня, но не далее Иркутска и не более как на два месяца. Я дала знать Боткиной, что еду, если это устраивает, и дело закипело.

Но чем ближе мы были ко дню от'езда, тем тяжелее мне была мысль, что скоро не увижу всех дорогих мне, что с каждым днем буду удаляться от них больше и больше и, кто знает, что̀ может за это время случиться. Были иногда такие минуты слабости, что я начинала жалеть о своем решении ехать. Дмитрий Иванович суетился, закупал разные дорожные вещи, обсуждал план, а я старалась скрыть мое настроение и удерживалась от слез. Но слово было дано, и недели через две мы выехали. Детей я просила не привозить на вокзал, простилась с ними дома. Провожающих нас на вокзале собралось много. Все было, как всегда в таких случаях.

Не буду описывать событий 1905 года — они всем известны. Упомяну только об одном эпизоде. Когда началось шествие во главе с Гапоном к Зимнему дворцу, несметные толпы наводнили не только те улицы, по которым проходило шествие, но и все соседние. Все ходили бледные и тревожные. У нас в Палате было то же, что и везде — ожидание и тревога. Дети сидели дома. Вдруг Дмитрий Иванович, который в последние годы буквально никуда не ездил, зовет служителя Михайлу и посылает его за каретой. Он был в таком состоянии, что спрашивать его ни о чем нельзя было. Карету подали. Дмитрий Иванович простился с нами и уехал с Михайлой „куда-то". Только через 6 часов они возвратились — 6 часов наших мучений. Михайла рассказывал, как их нигде не пропускали, и они кружили по разным глухим местам, чтобы про-

браться к дому Витте, на Каменноостровском проспекте. Витте был дома и принял Дмитрия Ивановича. Возвратясь домой, бледный, молчаливый, он снял в кабинете портрет Витте и поставил его на пол к стенке (с тем, чтобы убрать его совсем) и сказал: „Никогда не говорите мне больше об этом человеке". Я думала только об одном, чтобы он успокоился. Из страха вызвать волнение я никогда не расспрашивала о том, что произошло во время посещения им министра финансов Витте.

Когда был построен ледокол Ермак, Дмитрий Иванович очень им интересовался. Макаров бывал у нас часто. Дмитрий Иванович вник во все подробности постройки ледокола и считал возможным ехать на нем к Северному полюсу. Он сказал, что поедет с Макаровым к полюсу не только сам, но и возьмет нашего сына Ваню — так он был уверен в высоких качествах ледокола. Макаров тоже этим очень увлекался. Этот период обсуждения поездки к полюсу продолжался довольно долго. Я со скрытой тревогой прислушивалась к ним. К счастью или сожалению — не знаю — Макаров отказался от этой мысли, Дмитрий Иванович был так огорчен, что даже разошелся с Макаровым.

Наш сын Ваня окончил курс с золотой медалью в 8-й гимназии. В университете тогда было смутное время, занятия шли очень неправильно, постоянно прекращались то по распоряжению правительства, то по протестам студентов. Зная это, И. И. Мечников предложил нам отпустить нашего сына в Париж. Он советовал поместить его в Ecole Normale. Правда, туда принимали только чистокровных французов, но изредка делали исключения для детей известных иностранных ученых. В то время там учился сын известного голландского ученого Вант Гофа и еще кто-то. Мечников справлялся и получил ответ, что сын Менделеева будет принят. Ecole Normale — закрытое учебное заведение; праздники Мечниковы предлагали Ване проводить у них. Это было прекрасно. Но Дмитрий Иванович не согласился. Он хотел, чтобы его сын учился в России, и не хотел, чтобы он жил врозь с нами.

XII

А. А. Блок

17 августа 1903 года состоялась свадьба нашей старшей дочери Любы с Александром Блоком.

Огромное здание университета, выходящее узким боком к набережной Невы и длинным фасадом на площадь [1]) против Академии Наук, вмещало не только аудитории, лаборатории, актовый зал и церковь, но и квартиры профессоров и служителей с их семьями. Во дворе, налево от ворот, дом с квартирой ректора, дальше огромное мрачное здание странной неправильной формы, построенное еще шведами, служившее при Бироне для „Jeux de pommes"; дальше сад. Справа длинный, длинный сводчатый коридор главного здания. В будни коридор кипел жизнью. Непрерывно мелькали фигуры студентов, старых и молодых профессоров, деловито-степенных служителей; тут свой мир. В праздник все погружалось в тишину. В церковь посторонние входили с главного под'езда — с площади; со двора — только свои, жившие в университете. Там все знали друг друга. Вот идет маленький человек с огромными темными очками, утонувший в длинной шубе, с непомерным меховым воротником. Это „Кот-Мурлыка", проф. Николай Петрович Вагнер. В кармане он всегда носит свою любимицу белую крысу, которая пользуется большой свободой — часто выползает из кармана на воздух, выставляя свою белую мордочку с розовыми ушками к великому удовольствию ребят, которых в коридоре бывало всегда множество. В толпе их

[1]) Теперь называется „Линия проф. Менделеева".

выделяется фигурка в синем пальто белокурого мальчика с огромными светлыми глазами, с приподнятой верхней губкой. Он молча внимательно осмотрел крысу, также серьезно и внимательно перевел взгляд на стоящую рядом маленькую синеглазую розовую девочку в золотистом, плюшевом пальто и шапочке, из-под которой выбивались совсем золотые густые волосики. Девочка с растопыренными, как у куклы, ручками, в крошечных белых варежках, упивалась созерцанием крысы, высматривавшей из-под полы шубы профессора. Оба ребенка были со своими нянями, которые поздоровались и заставили сделать то же самое детей. Белая варежка мальчика потянулась к такой же варежке девочки. Это был маленький Саша Блок и его будущая жена Люба Менделеева.

Саша Блок со своей матерью Александрой Андреевной жил и воспитывался в семье своего деда Андрея Николаевича Бекетова, бывшего ректором университета. Семья Бекетовых состояла из отца, Андрея Николаевича, его жены, Елизаветы Григорьевны, и четырех дочерей: Екатерины, Софьи, Александры (мать поэта) и Марии. Белокурый, курчавый мальчик был общим любимцем семьи. Особенно же горячая дружба была между дедушкой и внуком. Гостеприимный дом Бекетовых посещался, кроме их родственников, университетскими профессорами: Менделеевым, Мечниковым, Бутлеровым, Иностранцевым, Вышнеградским и многими другими.

В такой высокоинтеллигентной семье рос Александр Блок. Сам дедушка рассказывал ему сказки. Бабушка Елизавета Григорьевна, тетки все уделяли ему время и ласку. Вся семья Бекетовых занималась более или менее литературой. Елизавета Григорьевна — известная переводчица с английского и других языков. Екатерина Андреевна — автор многих рассказов в „Огоньке“ и стихов; один том ее стихотворений издан. Александра и Мария Андреевны также писали стихи и переводили. Маленький „Сашура“, конечно, слышал много их и, не зная еще азбуки, лет 4—5 начал подбирать рифмы о котике, о зайке. В семье Бекетовых помнят их.

Лето Бекетовы проводили в своем маленьком подмосковном имении Шахматове, верстах в семи от Боблова, имения Дмитрия Ивановича, по совету которого они и купили свое. Трудно

представить себе более мирный, поэтичный и уютный уголок. Старинный дом с балконом, выходящим в сад, совсем как на картинах Борисова-Мусатова, Сомова. Перед окном старая развесистая липа, под которой большой стол с вечным самоваром; тут варилось варенье, собирались поболтать, полакомиться пенками с варенья — словом, это было любимым местом. Вся усадьба стояла на возвышенности, и с балкона открывалась чисто-русская даль. Из парка, через маленькую калитку, шла тропинка под гору к пруду и оврагу, заросшему старыми деревьями, кустарниками и хмелем; а дно оврага и пруд покрывались роскошными незабудками и зеленью; дальше шел большой лес, место постоянных прогулок маленького Саши с дедушкой.

Хозяйством занималась бабушка Елизавета Григорьевна, в важных случаях вопросы решались семейным советом, а в крайне важных поручали Андрею Николаевичу выполнить роль главы — пойти „покричать". Андрей Николаевич, в своем кабинете, погруженный в книги, относившийся с полным равнодушием к материальным вопросам вообще и к хозяйственным в частности, не считал себя в праве отказываться от предоставленной ему роли главы, по призыву вставал с своего кресла, закладывая руки в карманы, нахмуривая брови, выходил на крыльцо, место самых важных об'яснений, рассеянно оглядываясь, в какую сторону надо „покричать", выполнял более или менее неудачно свою роль и тотчас принимал свое обычное добродушное выражение, самодовольно улыбаясь, явно переоценивая свою заслугу, шагал обратно к своим книгам и гербариям. Насколько был чужд этот добрый человек помещичьих интересов, видно из рассказа местного крестьянина. Гуляя как-то в своем лесу, Андрей Николаевич увидел старого крестьянина, совершившего порубку и уносившего огромное дерево из Бекетовского леса к себе домой. Увидев это, Андрей Николаевич очень смутился и, по обыкновению, хотел сделать вид, что ничего не заметил; но видя, что деду тащить было очень трудно, не выдержал, робко и конфузливо предложил: „Трофим, дай я тебе помогу", на что тот, надо сказать правду, также конфузливо согласился, и вот знакомому обоим Фоме (от которого услыхали этот рассказ) представилась забавная

и трогательная картина, как барин, надсаживаясь и кряхтя, тащил из собственного леса дерево для украшего его крестьянина.

К этой симпатичной и дружной семье я очень любила приезжать из нашего Боблова. Спустившись с Бобловской горы, самое высокое место в уезде, надо было ехать Дубровками, березовой рощей, потом шел луг, река Лотосня небольшая, извилистая, то весело и быстро шумящая, то, расширяясь, задумчиво и медленно текущая, в таких местах покрытая белыми нимфеями и кувшинками. Вот мост, направо мельница, опять луг, старинная белая церковь на горе, село и, наконец, Шахматово. Колокольчики наших лошадей доносились издали до его обитателей. С разных уголков стекались они к дому, а иногда и на дорогу встретить редких летом гостей. Вот с гумна идет Елизавета Григорьевна, дочери с книжкой или работой из парка, а немного погодя и Андрей Николаевич с внуком Сашурой из леса. Встретив всегда приветливо гостей, шли под липу. Появлялся или уже стоял на обычном месте самовар, и начинались милые, добродушно остроумные разговоры. Солнышко ярко золотит цветник с ирисами, нарциссами, пионами. Маленький Саша бегает и оживляет своим голоском и лепетом, а иногда, прижавшись к дедушке, внимательно смотрит своими большими светлыми глазами и на гостя, и на облака, и на бабочек, слушает тихо могучий летний концерт леса и травы — все воспринимает мальчик, и все выражается на его маленьком загорелом личике. А семья не наглядится, не нарадуется на ребенка. Помню, раз как-то я вздумала взять с собой мою девятимесячную дочку Любу, по молодости лет воображая, что доставлю ей удовольствие, чем очень рассмешила бабушку Елизавету Григорьевну, которая даже пожурила меня за неосторожность: возвращаться надо было под вечер через реку, сырость могла ребенку повредить. Пришедший по обыкновению с дедушкой с прогулки Саша несе в руке букет ночных фиалок. Не знаю, подсказал ли ему „дедя", так он звал Андрея Николаевича, или догадался сам, но букет он подал Любе, которую держала на руках няня. Это были первые цветы, полученные ею от своего будущего мужа. Тогда она по своему выразила интерес к подарку,— быстро его растре-

пала и потянула цветы в ротик. Мальчик серьезно смотрел, не выражая ни протеста, ни смеха над крошечной дикаркой.

Шли годы. Саша стал гимназистом, учился, как я слышала, хорошо. Дома товарищами его игр были двоюродные братья, Фероль и Андрей Кублицкие. Саша был живой, способный мальчик, он был старший и руководил всеми играми и предприятиями. Игры его были играми интеллигентного ребенка. Он очень любил представления; знал уже Шекпсира, к которому всегда имел особое влечение. Раз мать его попала на следующую сцену: Саша усадил свою маленькую кузину на шкаф, приставил к шкафу лестницу, а внизу на полу поставил младшего двоюродного братишку; они должны были изображать Ромео и Юлию; говорил за них он сам. Бедной Юлии было очень неловко на шкафу, но ослушаться Сашу она не могла и послушно выполняла, что он ей приказывал. Освобождение явилось в лице матери Саши. Затеял он как-то издавать журнал; все члены семьи, начиная с дедушки, были сотрудниками, а он сам сотрудником и редактором. Журнал издавался несколько лет и хранится в семье. В этот период я мало видела Сашу; один только раз, когда ему было лет 13, Андрей Николаевич привез его к нам в Боблово. Дети мои были еще очень маленькие; они занимали старшего гостя, как могли: играли в крокет, ходили смотреть „дерево капитана Гранта", забрались в дупло дуба, в котором стоял стул и маленьких могло поместиться несколько человек, словом, осмотрели все достопримечательности. Расстались друзьями, но в Петербурге не виделись.

Вновь появился у нас в Боблове летом Александр Блок, когда ему было 17 лет. Это был красивый, стройный юноша, со светлыми вьющимися волосами, с большими мечтательными глазами и с печатью благородства во всех движениях и словах. В Боблове он нашел цветник молодежи, правда, очень зеленой. Любе было 15 лет, брату ее Ване 13, двое младших близнецов были еще очень маленькие, но у Вани был студент-учитель, у Любы гости — кузины 17 и 18 лет и много юных соседей и соседок по имению. Все увлекались в то время театром и готовились к спектаклю. Александр Александрович стал бывать часто и с увлечением принял участие в спектаклях, исполняя все главные роли. Он сразу как-то стихийно полюбил

Любу, самую юную из юных обитательниц Боблова, а она его, о чем он сам говорит в своем дневнике и стихах. Это было поэмой такой необыкновенной, как был необыкновенен сам Александр Блок. Зная ее, вспоминаешь о Лауре и Петрарке, о Данте и Беатриче. О ней будет, конечно, рассказано в свое время, я же не позволю себе касаться самой глубокой и лучшей стороны его души. Да, думается, сам Александр Александрович все выразил в своих стихах, которых посвящено Любови Дмитриевне, кажется, 800.

Но возвращусь к рассказу. Александр Александрович стал руководить Бобловскими спектаклями. У нас всегда время от времени бывали они, но отношение к ним и постановка носили детский характер. Возможны были такие курьезы. Исполняли детскую пьесу - сказку, сочиненную племянницей Дмитрия Ивановича, Надеждой Яковлевной Капустиной. На сцене должен был появиться волк, в дупле пряталась заблудившаяся Маша, которую играла 10-летняя Люба. Роль волка была поручена скотнице Федосье; худенькая, поворотливая, она на репетициях отлично исполняла на четвереньках роль волка. Костюм был великолепен — настоящая волчья шкура прикрывала всю небольшую фигурку Федосьи. Спектакль к общему восторгу удостоил своим присутствием Дмитрий Иванович, которого усадили на самом почетном месте 1-го ряда посредине. Все шло хорошо. Дошли до самого эффектного места — появления волка. Волк-Федосья вышел из лесу, как ему полагается на четвереньках, озираясь и обнюхивая кровожадно воздух. Уже волк дополз до средины сцены; тут из-под волчьей кожи Федосья увидала одним глазом Дмитрия Ивановича. „Здравствуйте, барин", быстро встав на задние лапы, сказал волк; — „не барин, матушка, а Дмитрий Иванович", — поправил волка не любивший слова „барин" Дмитрий Иванович. „Здравствуйте, Дмитрий Иванович", покорно поправился волк, стал на четвереньки и, продолжая свою роль, пополз к дуплу, где задыхалась от смеха Маша. Автор был ошеломлен. „Ведь ты волк — волк, несссчасс-тная", шипел автор за кулисами. Публика неистово хохотала, хлопала и стучала.

С появлением Александра Александровича началась, можно сказать, новая эра. Он поставил все на должную высоту.

Репертуар был установлен классический, самое большое место было отдано Шекспиру, Пушкину, Грибоедову; исполнялся также Чехов. Александр Александрович своим горячим отношением к поэзии и драме увлек своих юных друзей, а дома своих родных. Приготовление костюмов было поручено бабушке. Сооружая костюм Гамлета, она долго не могла найти пера для его берета; купить в деревне, конечно, было негде, и вот она отправилась в поле, сопровождаемая шутками семьи, поискать какое-нибудь перо, потерянное птицей. Надежды увенчались полным успехом; после долгих поисков она, усталая, но торжествующая, несла перо ястреба; прикрепила его к беретке, которая вышла хоть куда, а главное очень шла к 17-летнему артисту. Трогательное было отношение молодой труппы к исполнению произведений авторов, перед которыми они благоговели со всем пылом юности, искренностью, цельностью. Роскошное лето, уединение сельской жизни — все позволяло отдаться делу. В свободное время ходили в лес, в поле смотреть закат или открывать новые места. Раз как-то Александр Александрович нашел на нашем поле „высшую точку", с которой можно было насчитать 30 церквей.

Любили также все, и Александр Александрович тоже, сидеть на верхней террасе дома, откуда открывался такой чудный вид. Александр Александрович часто читал вслух, но тогда не читал еще своих стихов — он целомудренно хранил их, как и свою любовь; а в то время он поклонялся уже „прекрасной даме", служил ей. Почти все стихи того времени писаны под впечатлением его будущей жены.

Это время было временем роста поэта и, вероятно, лучшим в его непродолжительной жизни. Больной, умирающий, он сказал своей матери, что мог бы сжечь все свои произведения, кроме стихов „о прекрасной даме". На наших глазах развивалась поэма любви, сильной, как стихия. В моей памяти впечатления того времени сливаются в одну сказочную картину: дали, зори, грозы; на белом коне ездит юный, прекрасный всадник. Александра Александровича часто видели верхом, ездившим вокруг Боблова, где он сдерживался бывать слишком часто, но его туда постоянно тянуло — там жила его суженая, его любовь. Когда Андрей Белый в первый раз увидел вместе Александра

Александровича с его женой, у него вырвалось: „царевич с царевной". В дни репетиций белый конь со своим всадником поворачивал к бобловскому дому, где его поджидала „царевна" со своими милыми подругами. После обычных приветствий все спешили в сенной сарай — импровизированный театр. Старый бревенчатый сарай видел настоящее священнодействие — столько вкладывалось вдохновения, чувств и благоговения к искусству. Репетиции и приготовления к спектаклю давали артистам много наслаждения и интереса: костюмы, декорации, устройство сцены, зрительного зала,— все делали сами или под своим надзором. Во все было вложено много любви, находчивости и таланта. Но самые спектакли иногда приносили большие огорчения. Публику, кроме родственников и соседей, составляли крестьяне ближних деревень. Репертуар совершенно не подходил под уровень их развития. Происходило следующее: в патетических местах ролей Гамлета, Чацкого, Ромео начинался хохот, который усиливался по мере развития спектакля. „Представление" в понятии деревни того времени должно было непременно потешать, смешить; так как в стихах вышеупомянутых авторов, произносимых спокойно, не было ничего смешного, то когда наступало волнение, жесты, — они думали, что вот тут-то и начинается, и разряжали свою скуку взрывами хохота, что очень смущало артистов. Чем патетичнее была сцена, тем громче был смех. Другие забывали, что это представление,— видели в артистах знакомые им лица: „Шахматовский барин-то как к нашей барышне-то, только, шалишь, не на таковскую напал", и так далее, и опять смех. Женская половина зрителей, наоборот, видела все со слезливой стороны. Раз одна из зрительниц на другой день после представления Гамлета делилась своими впечатлениями с другой: „Он, милая моя, говорил-говорил, говорил-говорил, а тут как замахал руками,— вишь драться хотел, а Маруся-то и утопилась". Офелия превратилась в Марусю. Свежо предание, а верится с трудом. Артисты огорчались, но не унывали. Их художественная совесть могла быть спокойна — игра их была талантлива. Александр Александрович, как исполнитель, был сильнее всех с технической стороны. Исполнение же 16-летней Любови Дмитриевны роли Офелии, например, было необыкновенно тро-

гательно. Она не знала тогда сценических приемов и эффектов и жила на сцене. Офелия ее не была английской девушкой или русской, а просто девической душой. Как трепетно, вдумчиво слушала она монолог Гамлета и не делала жесты, а они выходили у нее бессознательно, были полны робкой полудетской грации, так же как и выражение лица.

Александр Александрович находил все больше и больше вдохновения в Боблове, что видно из его стихов. Так проходила весна жизни Александра Александровича Блок и его будущей жены — красиво, радостно, богато внутренней жизнью.

Зимой он продолжал бывать у нас; своих стихов не читал, хотя и писал их в этот период очень много. Раз, впрочем, прочел юмористическую пьеску, забавную и остроумную.

В конце зимы он сделался женихом. Свадьбу решено было сделать летом в деревне. Быстро пролетело время. Весной, как всегда, переехали в наше милое гнездо Боблово, но настроение уже было не беззаботное, а немного грустное. Люба жила в родной семье последние дни. Белый конь со своим всадником все чаще и чаще показывался из Дубровок и направлялся к нашему дому; поэма достигала своего полного развития.

Настал день свадьбы. Александр Александрович и Любовь Дмитриевна венчались в старинной церкви близ Шахматова. Стоит она одиноко, белая, с отдельной звонницей; кругом несколько старых могил с покосившимися крестами; у входа два больших дерева. Внутри мрачная; на окнах железные решетки; очень старые тусклые иконы, а на самом верху иконостаса деревянные фигуры ангелов. Церковь построена далеко от деревни. Богослужения в ней совершались редко; таинственное и мистическое впечатление производила она.

Не буду описывать подробности последнего дня перед венчанием невесты; скажу только, что в подвенечном наряде невеста была хороша: белое платье, вуаль, цветы еще больше оттеняли ее нежность и свежесть, слезы не портили, а скорее шли ей. Александр Александрович давно заметил ее сходство с мадонной Сассо-Феррато, приобрел фотографию этой картины и до последних дней жизни имел ее в своей комнате на стене. Свою невесту в церкви Александр Александрович встретил очень бледный, взволнованный. Вдвоем с ней они долго моли-

лись; им хотели уже напомнить, что пора начинать обряд, но Дмитрий Иванович остановил, сказав: „не мешайте им". Шаферами у Александра Александровича были Сергей Михайлович Соловьев, племянник Владимира Сергеевича Соловьева, и младший брат невесты Иван Дмитриевич Менделеев (теперь философ-математик). У Любови Дмитриевны — Розвадовский (теперь католический монах) и Вениамин Смирнов, друг ее детства. Провожатых собралось много: были родственники, соседи по имению, доктор и другие; пришли крестьяне, всегда дружно жившие с семьями Менделеевых и Бекетовых. Бывшие в церкви говорили, что никогда не забудут красоты юной пары, выражения их лиц и гармонии всего окружающего. Сергей Михайлович Соловьев тут же в церкви сочинил стихи; помню только последние две строки:

„И видел я, как голубица
Взвилась в воскрылиях орла".

После окончания обряда, когда молодые выходили из церкви, крестьяне вздумали почтить их старинным местным обычаем — поднести им пару белых гусей, украшенных розовыми лентами Гуси эти долго потом жили в Шахматове, пользуясь особыми правами: ходили в цветник, под липу к чайному столу, на балкон и вообще везде, где хотели.

После венца молодые и гости на разукрашенных дубовыми гирляндами тройках приехали в Боблово. Старая няня и крестьяне, знавшие „Любу Митревну" с детских лет, непременно хотели выполнить русский обычай, и только-что молодые вошли на ступеньки крыльца, как были осыпаны хмелем.

Дома стол уже был готов, обед вышел на славу. Дмитрий Иванович, очень расстроенный в церкви, где он во время обряда даже плакал, успокоился. Обед прошел весело. Крестьянки ближних деревень — Боблова, Семичева, Ивлева, Мишнева собрались во дворе и пели подходящие к случаю песни; конечно, их угощали. За столом провозглашали обычные тосты за молодых, говорили „горько". Дмитрий Иванович развеселился — шутил и смешил. Оживлению способствовало и то, что за обеденный стол посадили и младших — брата и сестру (близнецов) невесты и их ровесников — друзей. Маленькая еще

сестренка Муся расхрабрилась до того, что, подняв бокал как делают большие, провозгласила своим звонким голоском „за всех гостей!" на что почтенный доктор наш Иван Иванович Орлов с комической торжественностью ответил: „за вашу храбрость". Это еще больше подбодрило юную компанию и разогрело их веселье.

После обеда подана была тройка. Молодые простились со всеми (невеста со слезами), их усадили в экипаж, ямщик гикнул, лошади тронулись, звеня колокольчиками.

Александр Александрович увозил Любу из-под родительского крова в новую жизнь.

Молодые стали жить у матери поэта Александры Андреевны и ее второго мужа Кублицкого-Пиоттух. Александр Александрович был еще студентом Университета. Летом попрежнему жили в Шахматове, куда меня тянуло теперь еще больше. Поселились они по своему желанию не в большом доме, а в очень маленьком флигельке, бывшем раньше конторой или сторожкой. Обставили и устроили его своими силами; как птицы, свивая свое гнездо, таская все нужное из большого дома, с чердака и откуда попало. Гнездышко вышло прелестное. Когда я под'езжала к Шахматову, глаза мои нетерпеливо обращались в одну сторону, туда, где стоял маленький домик, заросший до самой крыши розами (rose de Provence) и сиренью, оттуда на колокольчики показывалась юная пара — „царевич и царевна"; поэма продолжалась.

Через несколько времени Александр Александрович, окончив курс Университета, переехал с Любой на самостоятельную квартиру. Но тут заря их жизни уступила место загоравшемуся дню, юность — зрелости.

На этом я закончу мои воспоминания об А. А. Блок.

XIII

Смерть Д. И. Менделеева

Масса тяжелых впечатлений того времени отразилась на здоровьи Дмитрия Ивановича. Я заметила, что он сильно устал. Он это чувствовал и сам. Мы его уговорили поехать хоть да один месяц в Канн, который всегда действовал на его здоровье очень хорошо. Он поехал, пробыл месяц, поправился и возвратился бодрым.

В первой половине января 1907 г. Палату посетил министр торговли и промышленности Д. А. Философов. Принимая его в Палате, Дмитрий Иванович простудился. Доктор Покровский нашел у него сухой плеврит, но Дмитрий Иванович не ложился и все продолжал работать. Старшая дочь, Л. Д. Блок, приехавшая нас навестить, говорила мне потом, что ее поразил вид Дмитрия Ивановича бледностью и чем-то неопределенным, и она почувствовала, что болезнь роковая. Тогда она мне не сказала этого, по той же причине, по которой я ей не рассказала свой сон, смутивший меня. Мы не хотели друг друга тревожить. Я видела во сне, что иду по ровной дороге, которая приводит меня к крутой горе. Я по ней должна взбираться, она делается все круче и круче, возврата нет; наконец, отвесная скала переходит в вертикальный туннель-трубу; с ужасом и замиранием сердца я должна карабкаться по отвесной, гладкой стене трубы, ежесекундно ожидая падения в пропасть. Но родная, нежная рука матери поддерживала меня, и родной голос ее говорил: „не бойся, я тебя поддерживаю", и так долго, долго я карабкаюсь, выбиваюсь из сил, должна лететь в пропасть, и опять мамина

рука держит, и я слышу голос: „не бойся, я тебя поддерживаю". Добираюсь до конца страшной трубы.— Смертельный ужас.—Труба оканчивается тупиком; дальше выхода нет. Материна рука направляет мою руку, и кистью руки осязаю отверстие, напрягаюсь, подтягиваюсь и вылезаю из черной страшной трубы. Надо мной каменный шатер или свод, не знаю, как назвать, а посреди две могилы, в одну из них исчезает мать— это ее могила. Перед другой стою вопросительно—моя? В эту минуту громко, отчетливо слышу голос Дмитрия Ивановича: „Прощай, Христос с тобой", и я поняла, для кого другая могила. Я просыпаюсь вся холодная. Голос был действительно Дмитрия Ивановича, который зашел проститься и сказал эти слова, но я почувствовала больно, что́ предвещает мне мой сон.

Видя, что Дмитрий Иванович с трудом сидит за столом и работает, я уговорила его лечь. Дальше я не могу ничего связно припомнить. Пусть расскажет Н. Я. Капустина.

„Сестра Дмитрия Ивановича, Мария Ивановна Попова, узнав о его болезни, приехала его навестить и нашла его очень бледным и слабым.

Я вошла к нему, рассказывала она, он сидит у себя в кабинете бледный, страшный. Перо в руке.

— Ну что, Митенька, хвораешь? Лег бы ты,— сказала она.

— Ничего, ничего... Кури Машенька,— и он протянул ей папиросы.

— Боюсь я курить у тебя — вредно тебе.

— Я и сам покурю...— и закурил. А перо в руке...

Она зашла потом к нему еще раз и опять видит: едва сидит, а перо в руке.

Это перо в руке, точно ружье у солдата, смертельно раненого, но остающегося на своем посту до смены.

К вечеру жена едва уговорила его лечь на диван сначала, а потом в постель, с которой он уже не встал.

Последние слова, написанные им в неоконченной им рукописи „К познанию России" были:

„В заключение считаю необходимым, хотя в самых общих чертах, высказать..."

Приехавший в понедельник поздно вечером профессор Яновский нашел у Дмитрия Ивановича крупозное воспаление легких.

В пятницу 19-го января в последний день своей жизни, Дмитрий Иванович почти все время был в забытьи, дышал очень тяжело и сильно страдал, когда приходил в себя. Но все-таки он просил, чтобы ему читали вслух. Ему читали в этот день „Путешествие к Северному полюсу“ Жюля Верна. Если замолкали, когда он впадал в забытье, то, приходя в себя, он говорил:

— Что же вы не читаете, я слушаю.

В 11 часов вечера он спросил гребенку, причесался сам и потом велел положить гребенку в столик на место.—„А то потом не найдешь“.

В час ночи он выпил немного молока, но больше пить отказался. Он сказал:

— Больше пить не буду...

Я думаю он не знал, что умирает; он не прощался, ни с кем и ничего не говорил о смерти, хотя вообще он не боялся ее и последние годы часто писал и говорил о конце и делал посмертные распоряжения своей жене и детям.

А, может быть, он и знал, что умирает, но не хотел тревожить и волновать заранее семью, которую любил горячо и нежно.

Скончался он от паралича сердца. Он дышал сначала очень тяжело, а потом все реже и тише, и в 5 часов утра его не стало.

„Старец великий смежил
Орлиные очи в покое...“

Когда я приехала, Дмитрий Иванович лежал уже в зале на столе, величавый и спокойный со сложенными крестом руками, и застывшее красивое лицо его, казалось, говорило: „Теперь я знаю то, что скрыто от вас еще живущих...“

Во время похорон Дмитрия Ивановича самое сильное впечатление на меня произвела эта несметная толпа народа, провожавшая его к церкви Технологического Института и после

отпевания на Волково кладбище. Двигалась она сплошной темной тучей по зимним улицам города[1]).

Присутствие молодежи с серьезными лицами, с венками в руках и с высоко несенной таблицей периодической системы элементов—это присутствие чуткой и прямой молодежи—было лучшим венком и украшением на похоронах ученого, трудившегося всю жизня для своей страны.

Колыханье венков[2]), металлический гроб, который студенты, чередуясь, несли на руках до самой могилы, черные флаги на здании Технологического института, зажженные днем фонари и всюду народ, юноши, женщины, старики и даже детский приют — все это оставило неизгладимое возвышенное впечатление.“ [3])

На могиле Дмитрия Ивановича, Д. П. Коновалов сказал:

„Дорогой, незабвенный учитель. От лица русских химиков я говорю тебе последнее прости. Кто из нас не испытывал чувства гордости, при мысли, что в наших рядах находится Менделеев. Поднявшись до высоты мирового гения, ты дал нам такие „Основы Химии“, которые всех покорили могучим размахом научного творчества, волшебной красотою научного горизонта. В тумане невидимых атомов, ты ярко осветил стройную систему элементов. Все выдающееся, все необычайное в природе неудержимо влекло к себе твой ум. Будь ли это солнечное затмение, полярные ли льды, тайна ли происхождения нефти или, наконец, сам мировой эфир.

Стремясь проникнуть в тайны природы, ты не боялся и долгого кропотливого труда. С одинаковым упорством мысли следил ты и за расширением газов и жидкостей и за медленным качанием весов и за перемещением центра великого русского государства. Несколько поколений черпало и будет черпать научное вдохновение в твоих творениях. Скольким же ты внушил жажду научной истины, скольких ты заразил своей научной пытливостью. Великий учитель! Слава земли русской!

1) Когда голова этой толпы была уже на Гороховой—конец еще у Технологического.

2) Их несли студенты в руках парами, в 50 пар, и колесница была доверху уложена ими.

3) Н. Я. Капустина-Губкина. Цит. соч., стр. 231—233.

Твои заветы не умрут. Твой дух будет всегда жив между нами и всегда будет вселять веру в светлое будущее.

Да будет легка тебе родная земля."

Тело Дмитрия Ивановича лежало в гробу. Вся комната завалена была цветами; приносили все еще и еще. Панихида сменялась панихидой. Приходили даже дети какого-то приюта и сами пели панихиду. Приезжал и митрополит Антоний и тоже служил сам...

Я с детьми сидела в моей комнате. Надгробное чтение и панихиды доходили до нас. Я и дети сидели вместе, подавленные ужасом без мыслей, без слов.

Кто-то постучал в дверь и сказал, что профессор Бехтерев желает с нами говорить. Выходим. Профессор, сказав несколько обычных слов сочувствия, приступил к делу. Необходимо взять мозг Дмитрия Ивановича, и он просит нас разрешить сделать это. Я растерялась, дети заплакали и даже закричали. Кто переживал такие минуты, как мы, поймет, что горе наше вылилось в такой, может быть, резкой форме. Владимир Михайлович Бехтерев подождал, потом сказал, что просит позволения снять только фотографию. Разрешили.

Профессор Бехтерев поступил так, как должен был поступить. Он взял мозг Дмитрия Ивановича.

Через год на торжественном собрании, в переполненном зале сделан был доклад о результатах работы Бехтерева и Вейнберга. В свое время подробности этого доклада были помещены во многих журналах. На экране был показан в увеличенном размере снимок с мозга.

Помню следующие слова докладчика проф. Вейнберга: „Если бы вы вошли в комнату, где собраны мозги людей, выделявшихся своей умственной деятельностью, вам бросился бы в глаза мозг Менделеева, если можно так выразиться, красотой формы, интенсивностью извилин."

Правое полушарие мозга по числу своих извилин нормально, но левое нет, в нем извилин больше, чем бывает обыкновенно, больше на три (кажется) завитка. Из этого можно

заключить, что мозг человеческий может эволюционировать в сторону развития, расцвета. В данном случае развитие, избыток извилин соответствует гениальности. По весу, помню, проф. Вейнберг сказал, что из измеренных мозгов, мозг Дмитрия Ивановича третий, но что вес мозга не есть показатель способностей [1]).

В годовщину смерти Дмитрия Ивановича на могиле его собралась огромная толпа. Сделан был склеп. Тело Дмитрия Ивановича, набальзамированное, уносили на время работ в церковь. Заказывая памятник, я хотела сделать что-нибудь простое, что соответствовало бы жизни, вкусам и привычкам Дмитрия Ивановича. Я избегала украшений и даже бюста, так как они редко передают полное сходство, а если его нет, то бюст не достигает цели. Сделан был цементный склеп, несколько возвышающийся над землей. Он окружен гранитными тумбами, соединенными железными цепями. На самой могиле финляндская гранитная глыба, заканчивающаяся массивным крестом, все из цельного гранита. На отшлифованной поверхности глыбы должен был быть помещен бронзовый барельеф, а внизу надпись: „Дмитрий Иванович Менделеев, родился в 1834 году, скончался в 1907 г.“ и какое-нибудь изречение из его сочинений.

Каменьщики по случаю сильных морозов могли выбить только: „Дмитрий Иванович Менделеев“, остальное было отложено до весны. Барельеф, заказанный скульптору Керзину, по рекомендации Беклемишева, был хотя и готов в глине, но непохож, и Керзин, обещая его переделать, увез в Париж, и больше я его не видела. Меня очень смущало, что памятник к годовщине смерти был в не совсем оконченном виде. После панихиды толпа еще не расходилась. Я тоже стояла, и вдруг слышу, кто-то из толпы говорит: „Как хорошо, что на памятнике нет ничего, кроме имени — Дмитрий Иванович Менделеев— именно на этой могиле ничего другого и не нужно писать“. Я передала это детям и некоторым друзьям Дмитрия Ивановича, и они согласились. Так и осталось.

[1]) Подробности о мозге Дмитрия Ивановича изложены на немецком языке и книжка эта издана в Вене.

XIV

Менделеев дома

Приступаю к трудной задаче, к характеристике Дмитрия Ивановича, к попытке выявить как можно полней его личность.

Дмитрий Иванович всегда был как будто в состоянии душевного горения. Я не видала у него никогда ни одного момента апатии. Это был постоянный поток мыслей, чувств, побуждений, который крушил на своем пути все препятствия.

Если он бодрствовал — он горел. Устав — он спал и таким крепким сном, какого мне не случалось видеть ни у кого и никогда. Раз как-то после долгой работы он лег днем и просил его не будить. Только-что он заснул, как из книжного магазина пришли за книгами. Склад книг был в небольшой комнате рядом с той, в которой Дмитрий Иванович только-что заснул. Я отказывалась дать книги из страха, что артельщики разбудят его. Узнав, в чем дело, они обещали взять книги без малейшего шума. Я согласилась и стала за ними следить. Сняв сапоги, они тихо вошли и осторожно снимали стопы книг, перевязанных веревками, говорили пантомимой, даже шепотом боялись. Им было необходимо взять хотя бы четыре-пять стоп. Я стояла, затаив дыханье. Вдруг веревка у одной стопы оборвалась, и книги со страшным грохотом упали на пол. Мы замерли. Что будет? Но в комнате Дмитрия Ивановича тишина. Потихоньку иду взглянуть. Дмитрий Иванович спокойно и крепко спит, даже не перевернулся.

В другой раз за границей в поезде он заснул. Соседом его был англичанин. В вагоне их случился пожар. Поезд остано-

вили, тушили пожар, был шум и суета. Дмитрий Иванович все спал; проснулся, когда все было кончено. „Почему же вы меня не разбудили?“ — спросил он англичанина.—„Да еще рано было, — спокойно отвечал тот,— до нашего купэ еще не дошло“.

Не знаю, как об'яснить такой сон у исключительно нервного человека.

Необычный дух Дмитрия Ивановича выливался в необычайной форме. Вот почему многие его не понимали. Он никогда не думал о том, какое впечатление производит на других, и говорил и делал все по движению сердца и „по своему крайнему разумению“, как он говорил.

Многие считали его характер невыносимым и тяжелым. Правда, он не любил противоречий и не терпел, чтобы перебивали его речь, потому что прерывалась связь его мыслей, которые не были порхающими мотыльками, а шли всегда из глубины его души. Он легко раздражался и кричал, но тотчас и успокаивался. Я помню, как в самое первое время моего замужества, кто-то пришел к нему по делу. Я сидела в соседней комнате за работой. Вдруг слышу раскаты громового голоса Дмитрия Ивановича. Страшно испуганная, я, бросив работу, убежала к себе и зарыла голову в подушки, чтобы ничего не слышать. Через несколько минут, со страхом освободив голову из-под подушки, услышала привычный, добродушный голос Дмитрия Ивановича. Он мирно и весело разговаривал с тем же посетителем.

Потом я, как и все его окружающие, знавшие его добрую душу и широкое сердце, привыкла к этой особенности его характера. Иногда он раскричится на лаборантов, на прислугу, на товарищей, на любого знакомого, на министра и сейчас же мирится и улыбается своей мягкой, доброй улыбкой.

Как-то на лекции досталось от него за какую-то неисправность при опытах служителю Семену. Дмитрий Иванович кричал. Лекция окончилась. Он пришел в кабинет, сел на свое обычное место отдохнуть. Вдруг вспомнил, что кричал на Семена. Вскочив, побежал через лабораторию, внутренними ходами к Семену. Нашел его, стал перед ним, поклонился и сказал: „Прости меня, брат, Семен“. К сожалению, в характере

Семена была некоторая манерность и словоохотливость. Обрадовавшись случаю блеснуть тем и другим, он начал: „Оно, изволите видеть, Дмитрий Иванович, так сказать, оно конечно“,— тянул он. Но темп Дмитрия Ивановича был другой— „Ну, не хочешь, так чорт с тобой!“ — живо повернулся и убежал.

Сам он не придавал никакого значения своему крику. Мне рассказывал бывший экзекутор Палаты Мер и Весов, как вначале в Палате боялись крика Дмитрия Ивановича. Раз он пришел в Палату раньше обыкновенного, везде побывал, и везде был слышен его крик. Кричал в лаборатории, кричал в библиотеке. Потом пришел в свой кабинет, в котором случайно находился экзекутор, со страхом глядевший на Дмитрия Ивановича, а он, как ни в чем не бывало, сел на свое кресло и благодушно сказал: „Вот как я сегодня в духе“.

„Раз при мне — пишет Н. Я. Капустина — один из лаборантов принес Дмитрию Ивановичу на просмотр свою работу, в которой сделал какие-то ошибки. Дмитрий Иванович распек его жестоко, так что тот весь раскраснелся, но когда хотел уходить, Дмитрий Иванович сказал ему мирным тоном:

— Куда же вы, батюшка, сыграемте же партию в шахматы.

Некоторые говорили про Дмитрия Ивановича, что у него тяжелый характер, сравнивали его со львом в берлоге, который рычит, когда к нему войдешь. Все думавшие так, не знали, сколько доброты и нежности было в душе Дмитрия Ивановича. Ницше сказал: „Кто велик в гневе, тот велик и в благоволении“. Он был полон контрастов.

Нечего и говорить о том, как он любил свою семью, своих детей. Он говорил: „Чем бы и как бы серьезно я ни был занят, но я всегда радуюсь, когда кто-нибудь из них зайдет ко мне“. Дмитрий Иванович любил даже и чужих детей всех возрастов. Дети служащих и сторожей в Палате Мер и Весов всегда бежали к нему, как только видели его во дворе: они знали, что у него найдется для них и ласка и гостинец в кармане — яблоки или конфеты. Каждое Рождество, в продолжение многих лет, Дмитрий Иванович устраивал на свой счет для детей служащих, сторожей и рабочих в Палате Мер и Весов красивую елку с игрушками всем детям.

К служащим в доме его он тоже относился заботливо и сердечно. Он всегда принимал к сердцу их невзгоды и радости. Как-то при мне Дмитрий Иванович пришел к обеду и сказал жене: „А у нас семейная радость, Михайла женится (его слуга)".

Дмитрий Иванович любил также и животных: собак, кошек, птиц. Младшая дочь его Муся (М. Д. Кузьмина), когда была маленькая, чтобы доставить ему удовольствие, на время дарила ему свою любимую канарейку, и он забавлялся с птичкой, следил за тем, что она делает. Он любил также белого попугая, привезенного его сыном моряком из Индии. Кормил его кедровыми орехами и разговаривал с ним о чае." [1])

В результате было то, что и дети были так привязаны к дому, что не хотели никуда ходить. Дома было у них все. Папин кабинет был постоянным источником света духовного, умственного интереса и всякой детской радости. Музыку и рисование они тоже имели дома. С трудом мне удавалось изредка повезти их к знакомым, у которых тоже были дети, но они рвались домой и только дома чувствовали себя хорошо.

Единственными выездами Дмитрия Ивановича, особенно в последние годы, были поездки за покупками подарков и лакомств для нас, и делал он это с таким удовольствием, что наслаждался сам не меньше детей. Даже к ювелиру ездил (всегда к Гоу на Невском) заказать какой-нибудь подарок мне [2]).

Я должна была употреблять много усилий, чтобы обуздывать его размах в покупках подарков; я боялась слишком большого баловства детей. Если он ездил в командировку, то привозил подарки не только мне и детям, но и всем домашним и родственникам. На мне лежал приятный, но и не легкий долг все это распределить.

Особенно перед Рождеством, перед елкой начинался неудержимый азарт. Дмитрий Иванович с озабоченным видом уезжал в несколько приемов закупать подарки, выбирая подолгу и с особенным вниманием книги, игрушки и прочее. Зная, что это ему доставляло удовольствие, а прокатиться полезно,

1) Н. Я. Капустина-Губкина. Цит. соч., стр. 180, 182—183.

2) Они почти все пропали в 1918 году.

я не останавливала его; но когда покупки присылали, я выступала в роли Ксантиппы — подвергала их строгому обзору — в них всегда был избыток, который я конфисковала, упаковывала и прятала у него же в кабинете в большой шкаф, где всегда был склад разных вещей для подарков.

Дмитрий Иванович конфузился, оправдывался, но покорялся и, в конце концов, даже одобрял меня, таким образом у него под рукой было и после праздников что-нибудь, если хотел дать своим или чужим детям.

Вспомнилось мне, как раз пятилетняя Люба прибежала ко мне из кабинета — дело было перед елкой — и радостно об'явила, что „папа купил куклу и тебе". — Я засмеялась. — Но она сказала правду. Дмитрий Иванович через магазин Беггрова выписал из Парижа художественный манекен в натуральный человеческий рост прекрасной работы, сгибающийся во всех членах. Иметь такой манекен было одно из моих мечтаний, Дмитрий Иванович это знал.

Вспоминая многогранную, богатую натуру Дмитрия Ивановича, не могу не упомянуть еще одну особенность. Огромный здравый смысл, реализм и — вера в интуицию. Если ему предстояло решить какой-нибудь затруднительный, важный, жизненный вопрос, он быстро-быстро своей легкой стремительной походкой входил, говорил, в чем дело, и просил сказать по первому впечатлению мое мнение. „Только не думай, только не думай" — повторял он. Я говорила, и это было решением. Были случаи, когда ему не нравилось мое мнение. „Ах, зачем ты так сказала!" — жалобно говорил он. — „Да ты не слушай, сделай, как тебе кажется лучше". — „Нет, уж нет!" Он говорил, что как-то не послушался, и потом жалел.

Изумительна также была его душевная свежесть и отзывчивость на всякие нужды ближних. Привожу, как яркое доказательство этому, рассказ Н. Я. Губкиной.

„За несколько месяцев до приезда к Дмитрию Ивановичу, мать моя [1]), овдовевшая уже несколько лет и жившая с нами в Томске, получила от Дмитрия Ивановича письмо, в котором он советовал ей перебраться в Петербург для воспитания де-

[1]) Екатерина Ивановна Капустина, сестра Дмитрия Ивановича.

тей и с приезда приглашал ее остановиться и прожить лето у него в именьи в Московской губернии, Клинского уезда, при сельце Боблове. И вот вся наша семья в восемь человек: мать, ее три сына, три дочери и внучка поселились у Дмитрия Ивановича на все лето...

Пришел конец нашей летней жизни в деревне. Дмитрий Иванович уехал читать лекции в Петербург, и мы поступили в гимназии. Несколько лет под ряд тянулась по зимам эта жизнь. Дмитрий Иванович сказал матери, что будет платить за меня в гимназию и покупать нужные для нас учебные книги.... Зимой Дмитрий Иванович уже мало разговаривал со мной; я к нему входила только здороваться и прощаться, и он всегда находил все-таки два-три ласковых слова сказать мне. При уходе моем он всегда давал мне мелочи на извозчика и наверное знал, что из этих денег у меня оставался еще капитал на лакомства или карандаши. Он всегда с серьезным видом давал мне, а я также серьезно принимала и заранее рассчитывала на эту главную статью дохода в своем детском бюджете.

В первый год жизни в Петербурге я захворала тифом с осложнениями и долго поправлялась. Дмитрий Иванович посылал мне для подкрепления дорогого рейнвейна. Во время этой же болезни он сам привез мне сибирячке красивую куклу с настоящими волосами и нежным фарфоровым лицом, и я, несмотря на свой солидный двенадцатилетний возраст, очень ей была рада.“ [1])

Точно также, когда его другая сестра, Мария Ивановна Попова, потеряла каким-то образом деньги, он отрезал ей с мужем кусок земли от своего имения с хорошим родником, на котором Мария Ивановна с семьей устроили себе небольшое хозяйство.

Он сердечно привязывался ко всем своим лаборантам и сотрудникам по работам в его лаборатории в университете, а потом в Главной Палате Мер и Весов. Он входил в интересы их личной жизни и старался каждому помочь, чем мог. Вот что говорит его ученик и сотрудник,— покойный профес-

[1]) Н. Я. Капустина-Губкина. Цит. соч., стр. 163, 168, 170.

сор Густавсон о выдающейся черте характера Дмитрия Ивановича, делающей его дорогим и незабвенным для очень, очень многих и далеко не для одних химиков.

„В нем была так сильна эта готовность помочь, что он в очень многих случаях сам шел навстречу, не ожидая просьбы. Он не жалел себя и часто, пренебрегая здоровьем и отрываясь от глубоко захватывающих его трудов, ехал хлопотать за других. Надо заметить, что его полные убеждения и убедительности, нередко властные и настойчивые представления всегда имели успех. В продолжение всей моей жизни я не встречал другого человека, равного ему в этом отношении.“ [1])

Стоит только вспомнить его поступок со студентами в 1890 году, когда он за них вызвался сам хлопотать у министра, за что и пострадал, чтобы поверить словам проф. Густавсона.

Самобытность и оригинальность Дмитрия Ивановича проявлялись во всем. Особенно в его лекциях.

Лекции Дмитрия Ивановича собирался слушать весь университет. Экзекутор университетский говорил, что на лекциях Менделеева стены потеют. Вот как передает внешнее впечатление один из его слушателей.

„Кому хоть раз привелось его услышать, тот с закрытыми глазами по нескольким словам узнал бы голос и речь Дмитрия Ивановича, то медленно нанизывающего слова на высоких, тягучих, даже можно сказать плакучих металлических тонах, то переходившего в скороговорку, почти шепотом на середину ноток, то гремевшего отрывистыми низкими аккордами—то, как топором, рубившего отдельные краткие фразы, то составлявшего многозвончатую совокупность подчиненных друг другу, а зачастую и неподчиненных, так как с грамматикой Дмитрий Иванович не всегда считался, предложений, погонявших, перегонявших одно другое и друг на друга нагромождавшихся, как льдины на ледостав...“

Рассказ другого слушателя:

„Я был студентом в 1880 году и вместе со всеми студентами ломился в аудиторию Дмитрия Ивановича. Кто не помнит его лекции. Да и возможно ли их забыть. Вот он поды-

[1]) Проф. Густавсон. Д. И. Менделеев.

мается на кафедру. Там уже ассистент его Дмитрий Петрович Павлов[1]). Дмитрий Иванович становится на свое место; Павлов ему напоминает, на чем он остановился на прошлой лекции, и вот, подумав, сосредоточась, начинает говорить Дмитрий Иванович без определенной программы, но вдохновенно. Громадный баритон, прекрасная от природы дикция, выразительная, своеобразная красивая жестикуляция, в высшей степени оригинальная речь, то замедленная, то ускоренная — послушная стройному полету его мысли — все это поражало слушателя, и аудитория Менделеева была всегда переполнена.

Раз пришел Дмитрий Иванович расстроенный, бледный, долго ходил он молча, потом начал говорить — о Достоевском, который только что скончался. Под впечатлением этой смерти, он не мог удержаться, чтобы не высказать своих чувств. Говорил он так, сделал такую характеристику, что, по словам студентов, не было ни до, ни после, глубже, сильней и проникновенней. Пораженные студенты молчали, тихо-тихо разошлись и навсегда сохранили память об этой лекции, на которой гений говорил о гении."

Сама я слышала лекции Дмитрия Ивановича не больше трех-четырех раз, когда он читал в пользу кого-нибудь или чего-нибудь. Место я должна была выбирать подальше и сбоку, чтобы Дмитрий Иванович меня не увидал. Он всегда просил меня не присутствовать на его лекциях, потому что это его, как он говорил, волновало. Я должна была каждый раз ему обещать, что не буду, прощаясь с ним, провожала его. Но это было выше моих сил. Проводив его, я одевалась и ехала. На другой день признавалась. Каждый раз повторялось то же самое.

Одну из таких лекций я хорошо помню. Начал Дмитрий Иванович подавленный, грустный, тянул, смотрел куда-то вниз.— Что с ним? думала я. Мне было мучительно видеть его таким. Но это продолжалось минут пять. Потом начался под'ем, иначе я не могу назвать, под'ем все дальше и дальше в высь. Все окружающее провалилось куда-то, а мы точно загипнотизированные могучим, звенящим голосом,— каждое слово так

[1]) Брат И. П. Павлова, физиолога.

и вонзалось в мозг — мы держимся на небывалой, непривычной высоте. После лекции, пробуждение от волшебного сна; не хотелось возвращаться к обыденному, чувствовалось страстное желание чего-нибудь другого „не от мира житейского".

Отличительным свойством Дмитрия Ивановича было отдаваться всецело тому предмету, которым он в данную минуту был занят, будь это научный вопрос, хозяйственный, общественный или даже домашнее дело. Он интересовался самыми разнообразными вопросами, но не разбрасывался — все грани его творчества связаны какими-то нитями, составляя одно целое. Как будто даже не в его воле было не углубляться в представлявшийся ему вопрос или относиться поверхностно. Когда, бывало, в деревне его звали взглянуть на какую-нибудь производившуюся работу — рытье колодца, постройку,— если в это время у него было какое-нибудь другое дело, он сердито отказывался, потому что знал, что увлечется и потеряет много времени, ограничиться одним советом он не мог.

Интерес к фабрично-заводской промышленности зародился у Дмитрия Ивановича, по его собственным словам, еще в детстве в Сибири, в селе Аремзянском на стекольном заводе, где он провел детство и где он вникал в эту заводскую жизнь.

Он глубоко верил в то, что фабрично-заводская промышленность необходима для правильного развития, для роста благосостояния России.

О земледелии Дмитрий Иванович говорил, что наблюдается уже переход сельского хозяйства из стадии первичной к более совершенной, промышленной, которая стремится к возможно полной замене работы „трудом" (его оригинальное выражение, которое он развил в своих „Заветных мыслях").

Наружность Дмитрия Ивановича известна по его многим удачным и неудачным портретам. Но все же ни фотографии, ни портреты не могут передать разнообразия выражений, жизни лица. Очень удачными я считаю портрет, снятый Карриком в 1881 году, все портреты, снятые Ф. И. Блумбах в Палате Мер и Весов, и довольно удачная фотография Мрозовской. Портреты, сделанные нашими художниками: Крамским, Ярошенко и Репиным, не могу назвать вполне удачными. В пор-

трете Крамского [1]) похож рот и волосы, но глаза и выражение лица неудачны. У Ярошенко [2]) схвачен цвет волос и бороды, но выражение совсем не похоже. Портрет И. Репина [3]) писан после смерти Дмитрия Ивановича и не может назваться удачным. Бюст И. Я. Гинцбурга передает в общем, но в частностях есть отступления от натуры: нос у Дмитрия Ивановича был прямой и красивый, рот не выдавался так, как в бюсте Гинцбурга, и тоже был правильно очерчен, но с некоторых поворотов есть большое сходство.

Цвет лица Дмитрия Ивановича был скорее бледный, ничего „красочного", кричащего. Длинные пушистые, светлокаштановые раньше, потом с проседью, и позднее седые волосы и борода. Темно-синие (не прозрачные) глаза, прекрасно вылепленный череп, правильный прямой славянский нос, красиво-очерченный крупный рот, необыкновенно подвижные надбровные дуги, без бровей, делали его лицо заметным и незабываемым везде, где бы он ни появлялся, хотя бы даже в парижском кафе. Меня всегда смущало и надоедало, когда за границей где-нибудь за столиком в скромном boullon Duval или в модном кафе, мы делались всегда предметом внимания публики. Замечала это я, а Дмитрий Иванович никогда не обращал внимания ни на кого и везде всегда держал себя, как дома. Эта манера и щедрые на-чаи импонировали в ресторанах, и его принимали за „знатного иностранца". Как мало обращал Дмитрий Иванович внимания на свою внешность, можно видеть из того, что он почти никогда не смотрел на себя в зеркало; в его комнате и не было его, только маленькое ручное дорожное с ручкой.

Разные лица, видевшие его в разные эпохи жизни, сходятся в определении его внешности в одном: он имел наружность какой-то другой эпохи. Профессор Вальден, немецкий биограф Дмитрия Ивановича, пишет: „Внешность Менделеева была совершенно своеобразна. По богатству своих ниспадающих волос и форме бороды он представлял характерную голову, кра-

1) В университете, в кабинете Д. И.

2) У меня.

3) Был в Москве в галлерее Цветкова.

сивей и выразительней которой не найти даже у Доре в его иллюстрациях". Андрей Белый, видевший Дмитрия Ивановича в Боблове, назвал его Саваофом.

Мне, когда я увидела Дмитрия Ивановича в первый раз издали на акте в университете, он показался похожим на Зевса.

Как я уже говорила, итальянский профессор Назини лично мне говорил о своем восхищении головой Дмитрия Ивановича и находил у него сходство с Гарибальди. Выражение лица его и глаз менялось, смотря по тому, о чем он думал и говорил. Когда он говорил про то, чего он не любил, он морщился, охал, мотал головой, например, на словах: „церковники", „латынщина", „тенденция". Но когда говорил о верховной стихии, о движении, науке, голос его звучал ясно и низко, голова поднималась, глаза сверкали. В семье, с детьми, это было необыкновенно нежное, мягкое, добродушное и какое-то особенно трогательное выражение.

Дмитрий Иванович был большого роста, никогда не был полным, плечи несколько приподняты, я думаю, от постоянной работы за письменным столом. Очень выразительны у него были руки, „психические", как говорят. Помимо его воли и желания, руки его выразительно жестикулировали. Широкие, быстрые и нервные движения рук отвечали всегда его настроению. Когда его что-нибудь расстраивало, он обеими руками хватался за голову, и это действовало на присутствовавших сильней, чем если бы он заплакал. Когда же он задумывался, то прикрывал глаза рукой, что̀ было очень характерно. И странно — все жесты и экспрессии его лица и рук были всегда своеобразны, красивы, хотя он об этом совсем не думал. Тембр голоса у него был баритон, звучный, приятный, металлический, но в разговоре он переходил иногда и на глухие, низкие ноты баса и на высокие теноровые. И эта изменчивость и жестов, и самого голоса придавала много живости и интереса его словам, разговорам и речам. Но музыкальный слух был мало развит. Все-таки он иногда по утрам, когда вставал и одевался, пел: если был в хорошем настроении то, „La donna e mobile", а если в плохом, то „Заступница усердная",

Одевался Дмитрий Иванович до крайности просто. Дома носил всегда широкую суконную куртку без пояса самим им придуманного фасона, нечто среднее между курткой и блузой, почти всегда темносерого цвета. Редко приходилось видеть его в мундире или во фраке. Лентам и орденам, которых у него было много, до Александра Невского включительно, он не придавал никакого значения и всегда сердился, когда получал звезды, за которые надо было много платить.

Одежде и так называемым приличиям он не придавал ни малейшего значения во всю свою жизнь. В день обручения его старшего сына Владимира[1]) с Варварой Кирилловной Лемох ему сказали, что надо непременно надеть фрак.

— Коли фрак надо, наденем фрак — сказал он добродушно и надел фрак на серые домашние брюки.

Дмитрий Иванович вел всегда одинаковый простой труженический образ жизни, но нельзя сказать, чтобы строго правильный. Все зависело от работы; работал он, если можно так выразиться, запоем. Иногда несколько суток не отрывался от работы, а потом ляжет и целые сутки спит. Все привычки его были очень простые. Спал он, когда жили в университете, на жестком деревянном желтом лакированном диване, с тонким тюфяком, позднее, на Кадетской и в Палате, он спал на кровати, но с одним волосяным матрасом. Встав, одевшись и умывшись, здоровался с семьей и сейчас же уходил в кабинет и там пил две, иногда три больших чашки крепкого, сладкого чая, с'едал несколько небольших бутербродов с икрой, ветчиной или сыром. Чай Дмитрий Иванович любил хороший. Очень невзыскательный и умеренный в своих вкусах, к чаю Дмитрий Иванович пред'являл большие требования. Я не сразу научилась делать его по вкусу Дмитрия Ивановича; были некоторые тонкости, которые я усвоила потом, но зато так, что, если мне было некогда заварить чай самой, и я просила это сделать кого-нибудь из домашних, Дмитрий Иванович сразу узнавал, что заваривала не я, и отсылал свою чашку назад с просьбой заварить другой. Чай выписывал Дмитрий Иванович из Кяхты, цыбиком; получив его, мы устилали пол скатертями,

[1]) Скончавшийся еще при жизни Дмитрия Ивановича.

вскрывали цыбик, высыпали из него весь чай на скатерть, быстро смешивали, потому что чай лежал в цыбике слоями не совсем одинакового качества (не могу об'яснить почему); надо было все это делать быстрее, чтобы чай не выдохся, потом рассыпали по огромным стеклянным бутылям и крепко их закупоривали. В этой церемонии участвовали все члены семьи. При этом оделялись чаем все домочадцы и родственники. Чай наш имел почетную известность в кругу наших знакомых и действительно был очень хорош.

Табак, который употреблял Дмитрий Иванович, был очень хороший, выписывался также большими количествами. Дмитрий Иванович курил очень много. Свертывал папиросы он сам мундштука не употреблял.

С утра, сразу, Дмитрий Иванович садился работать и работал часов до $5^1/_2$. Выходил гулять на $^1/_2$ часа, иногда больше, когда отправлялся купить фрукты, игрушки или принадлежности для своих занятий. Обедал всегда в шесть часов. За обедом был очень разговорчив, если был здоров. Ел Дмитрий Иванович очень мало и не требовал разнообразия в пище: бульон, уха, рыба. Третьего, сладкого, почти никогда не ел. Иногда он придумывал что-нибудь свое; отварный рис с красным вином, ячневую кашу, поджаренные лепешки из риса и геркулеса. Иногда одно из этих блюд он просил подавать каждый день по целым месяцам. В кругу наших знакомых иногда такие любимые кушанья Дмитрия Ивановича входили в моду, но только что они входили в моду, как Дмитрий Иванович придумывал другое.

Вина он пил всегда очень мало,— маленький стаканчик красного кавказского или Бордо. После обеда дети бежали в кабинет и оттуда приносили всем десерт — фрукты, сладости, которые Дмитрий Иванович имел всегда у себя, но не для себя.

После обеда Дмитрий Иванович любил, чтобы ему читали вслух романы из жизни индейцев, Рокамболя, Жюля Верна. Классиков он слушал и читал только тогда, когда не очень уставал от работы. Он очень любил Байрона „Тьму", „Каин", и русских, кроме Пушкина — Майкова и Тютчева, особенно его „Silentium!"

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои—
Пускай в душевной глубине
И всходят и зайдут они
Как звезды ясные в ночи:
Любуйся ими и молчи.
Как сердцу высказать себя?
Другому, как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи.
Питайся ими—и молчи!
Лишь жить в самом себе умей.
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно—волшебных дум;
Их заглушит наружный шум,
Дневные ослепят лучи,
Внимай их пенью и молчи!

Дмитрий Иванович без волнения не мог говорить эти стихи.

Иногда он раскладывал пасьянс. Один из них, не помню, как он назывался, он раскладывал со своими видоизменениями. Он его придумал очень давно, вскоре после того, как познакомился со мной. Бубновая дама (которая обозначала меня) должна была поместиться каким-то особым образом, первой сверху, и в первом ряду.

В часы отдыха Дмитрий Иванович любил клеить. Когда я была еще ученицей Академии и жила у Екатерины Ивановны Капустиной, Дмитрий Иванович заинтересовался особенно живописью. Он стал покупать фотографии с художественных произведений. Заказывал огромные прекрасные альбомы с пустыми страницами твердой хорошей бумаги и на них сам наклеивал фотографии, гравюры, иногда и рисунки. Первый альбом был сделан для моих фотографий и рисунков, на нем и стоят мои прежние инициалы А. П. К счастью, этот альбом и несколько других уцелели. Потом он стал клеить рамки тоже для фотографий и гравюр, потом кожаные ящики в виде чемоданов, а когда у него была катаракта, то и целые столики очень правильных и красивых пропорций. Клей он изобрел сам, и по мнению всех, кто пробовал этот клей, он был первосортный.

Через полчаса после обеда Дмитрий Иванович опять принимался за работу и иногда работал и всю ночь.

Вечером иногда его навещали друзья: К. Д. Краевич, Н. А. Ярошенко, А. И. Куинджи и А. И. Скандер, который раза два в месяц приезжал играть в шахматы. Играл с ним в шахматы также и А. И. Куинджи. Дмитрий Иванович любил играть в шахматы; играл он нервно, волновался, я видела даже, как иногда у него дрожали руки, когда он переставлял фигуры. Почти всегда он выигрывал.

В 9 часов вечера Дмитрий Иванович опять пил чай из своей большой чашки, с куском булки с маслом и поджаренными рисовыми или ячневыми лепешками. На ночь выпивал кружку молока.

Выезжал Дмитрий Иванович очень редко, всегда только по делу. Все это знали и навещали его, не требуя от него визитов. Раньше он бывал раз в год на ежегодных обедах передвижников и на университетских обедах 8-го февраля. Посещал так же, с тех пор, как мы с ним познакомились, все художественные выставки, а особенно передвижников. В театрах он и раньше бывал редко, а в последние годы и совсем не бывал, не очень поощрял и меня, но так как я любила театр, то он не стеснял меня, и я все-таки бывала на всех интересных спектаклях, и очень, очень редко удавалось подвинуть на это и Дмитрия Ивановича. Привожу рассказ доктора Крейнгеля.

„Много лет спустя после того, как я студентом слушал Дмитрия Ивановича в Университете, уже когда я сделался доктором, пошел я как-то в консерваторию в итальянскую оперу; исполняли „Травиату". Велика была моя радость, когда в раздевальной я увидел оригинальную, незабвенную фигуру Дмитрия Ивановича с мальчиком гимназистом[1]). Я поспешил поздороваться. Дмитрий Иванович очень приветливо и несколько раз сказал: „Здравствуйте, здравствуйте". Мне пришлось сидеть как раз сзади Дмитрия Ивановича и его сына. Я все время наблюдал, как сосредоточенно слушал Дмитрий Иванович. А в зале между тем уже его заметили и говорили о „событии"—Менделеев в опере.

[1]) Наш сын Иван Дмитриевич.

Встретившийся мне один из служащих под начальством Дмитрия Ивановича в Палате Мер и Весов Георгиевский сказал мне: „Да, конечно, это событие. Это его заставила жена Анна Ивановна, слишком он заработался, и она решила силой его развлечь. Когда Дмитрий Иванович, чтобы как-нибудь отделаться от театра, неосторожно как-то сказал: „Вот „Травиату“ я бы послушал“,—Анна Ивановна стала следить за репертуаром, в Палате были с ней в заговоре, и тоже все следили, и как только была назначена „Травиата“, она взяла билет и, чтобы ему было веселее, и сыну гимназисту Ване и потребовала исполнения обещания.“

Одно из удовольствий, которые Дмитрий Иванович любил себе доставлять, была баня. Он не любил принимать домашние ванны, а шел в общую баню, где оставался долго. Любил полок, веники и беседы с баньщиками. Возвратясь из бани, пил чай и чувствовал себя именинником.

Так жил Дмитрий Иванович простым русским человеком, ни в чем никогда не проявляя ни малейших буржуазных вкусов или наклонностей. Где бы он ни был, куда бы ни ездил, возвращался домой всегда с особенным чувством радости—к своей семье и простым привычкам.

После кончины Дмитрия Ивановича нам пришлось в очень скором времени оставить казенную квартиру в Палате Мер и Весов и переселиться на частную. В моей новой квартире я устроила кабинет в таком виде, в каком он был при жизни Дмитрия Ивановича.

Письменный стол, за которым столько работал Дмитрий Иванович, стоял так же, как при нем, та же чернильница, те же перья, пепельница и даже неоконченная рукопись. Кресла, диван, полки для книг и шкафы — все поставили, как было. Надежда Яковлевна Губкина записала, в каком порядке развешены были фотографии и картины. Помещаю ее запись:

„Рамки для всех почти портретов знаменитых людей, которые висели в его кабинете, он клеил сам, начиная с изображения Иисуса Христа в профиль, считающегося историческим. Все эти гениальные люди в его кабинете смотрят из рамок, сделанных руками тоже гениального человека.

Изображение Иисуса Христа (старинная гравюра) была помещена Дмитрием Ивановичем выше всех портретов на одной из стен кабинета, налево от входа, сзади его кресла и письменного стола. Под Спасителем висела большая гравюра на меди Петра Великого, направо от этой гравюры помещены Дидро, Суворов, Рафаэль, Бетховен и прекрасный портрет карандашем химика Лавуазье работы второй жены Дмитрия Ивановича, Анны Ивановны Менделеевой. Налево висели Декарт и Жерар тоже ее работы, Шекспир, Данте и Глинка. С двух сторон всей этой группы портретов висел рисунок соусом под стеклом: „Сосна" — „На севере диком стоит одиноко сосна..." Шишкина и итальянский этюд масляными красками Иванова.

Над дверью на этой же стене помещены портреты, все работы А. И. Менделеевой: молодого Ньютона, налево от него Галилей, направо Коперник, Грегем, Митчерлих, Розе, Шеврейль и Ньютон позднейшего времени. Направо от двери, на фанерах большого книжного стеклянного шкафа, справа висели портреты ученых: Велера, физика Краевича, друга Дмитрия Ивановича по Педагогическому институту, Воскресенского, его профессора там же, которого Дмитрий Иванович очень ценил и уважал. Слева висели портреты химиков Фарадея, Бертело и Дюма.

Над столом, на высоких полках красного дерева, висели фотографии жены Анны Ивановны, детей и внучки Дмитрия Ивановича и фотографическая группа ученых, между, которыми находился и он сам.

На стене, против стола, слева, висели копии работы Анны Ивановны Менделеевой со старинных портретов отца и матери Дмитрия Ивановича. Мать изображена в старинной прическе с букольками на висках, с короткой талией и в чепце с голубыми бантами, отец написан в профиль.

Под этими портретами висели семейные группы и группы художников передвижников, друзей Дмитрия Ивановича. По средине стены помещался портрет Анны Ивановны масляными красками работы Браза в натуральную величину, но мало похожий. Над ним портрет тоже масляными красками ее отца донского казака Ивана Евстафьевича Попова, который гото-

вился быть доктором, но по законам того времени попал на действительную службу на Кавказ, и масляными же красками, ее же работы, портрет в профиль[1]) Дмитрия Ивановича. Она писала его одновременно с художником Ярошенко в 1883 году.

На этой же стене, налево, висела большая фотографическая группа профессоров физико-математического факультета периода до нового устава 1884 года, самая блестящая пора Петербургского Университета, когда профессорами были такие ученые, как Менделеев, Бутлеров, Меншуткин, Чебышев, Фаминицын, Петрушевский, Богданов, Бекетов, Вагнер, а ректором был Андреевский. Под этой группой висел большой портрет масляными красками работы Ярошенко второго сына Дмитрия Ивановича Вани. Он в белой русской рубашке сидит в большом кресле и весело и задумчиво смотрит большими светлыми глазами.

Под этим портретом, вдоль двух больших окон кабинета, между шкафами с книгами, стоял все тот же когда-то тиковый диван, обитый теперь зеленым трипом. На этом диване Дмитрий Иванович отдыхал иногда в последние годы перед обедом и на нем же лежал первые дни своей смертельной болезни. Против дивана была дверь в его спальню, где он скончался. Около письменного стола стояло еще кресло, обитое трипом для посетителей, а сам Дмитрий Иванович сидел на обыкновенном буковом венском кресле, на спинке которого висел вышитый (Любовью Дмитриевной Блок) коврик. На столе лежали и стояли книги всех форматов и величин, корректуры, бумаги, стеклянная чернильница, несколько ручек без пера, карандаши, стеклянная коробка для табаку с кусочками сырого картофеля, чтобы табак не сох."[2])

Первое впечатление при входе в его кабинет было—книги, книги и книги. Они стояли в систематическом порядке.

Общий вид кабинета своеобразный, но очень простой и скромный. Но эти простые и огромные шкафы вмещали настоящие сокровища: рукописи, корреспонденции интереснейших лиц, дипломы всего мира, всех академий (кроме Петербургской), редчайшие медали Фарадея, Деви и Коплея и пр. и пр.

[1]) Единственное изображение Дмитрия Ивановича в профиль.

[2]) Н. Я. Капустина—Губкина. Цит. соч., стр. 193—195.

Кабинет благополучно и сохранно был в моей квартире и доставлял мне много утешения, напоминая каждой вещью Дмитрия Ивановича. Но по разным обстоятельствам пришлось переменить квартиру, и я стала думать, как бы найти кабинету верное, безопасное место, тем более, что в новой моей квартире на Захарьевской и комнаты не было, подходящей для него. Я огорчалась и была в большом затруднении. По совету друзей, я обратилась к ректору Университета Ивану Ивановичу Боргману с просьбой принять кабинет Дмитрия Ивановича в Университет хотя бы в упакованном виде. Иван Иванович Боргман отказал мне, об'яснив свой отказ тем, что в Университете не было места, единственное свободное помещение было занято уже вещами А. В. Прахова. Я не знала, что̀ делать. Говорила об этом и советовалась со многими. Каким-то образом весть о моем затруднении дошла до управляющего Донским Политехническим Институтом Н. Н. Зинина. Он написал мне следующее письмо.

„Милостивая государыня,
многоуважаемая Анна Ивановна.

Донской Политехнический Институт желает приобрести кабинет покойного Дмитрия Ивановича, как реликвию великого русского ученого, и сохранить его в назидание потомству по возможности в таком же виде, в каком он был при жизни Дмитрия Ивановича, куда люди, причастные к науке, входили бы с благородной робостью и почтительным трепетом. В этом кабинете предположено поместить библиотеку Дмитрия Ивановича и назвать ее его именем.

За неимением каталога библиотеки, испрошено разрешение министра приобрести за 12.000 рублей все, что̀ есть в библиотеке, включая, конечно, и беллетристику. Студенты пользоваться библиотекой не будут.

Прошу принять уверение в совершенном уважении и искренней преданности.

Сентября 1909 г. Н. Зинин".

Это было прекрасным выходом из положения, и с согласия детей (по завещанию кабинет был их собственностью) я напи-

сала Н. Н. Зинину, что с благодарностью принимаю его предложение.

Вскоре Н. Н. Зинин сам приехал в Петербург и лично повторил свое предложение. Весть об этом распространилась. В газетах появилась статья, в которой выражались сожаление и упрек, что такая драгоценная память Дмитрия Ивановича удаляется из Петербурга. Встретив на улице В. Е. Тищенко, я ему сказала о судьбе кабинета. Через несколько дней Химическое Общество, если не ошибаюсь, через В. Е. Тищенко предложило мне отдать кабинет ему для Университета. Я ответила, что уже не могу распоряжаться кабинетом, так как дала слово Н. Н. Зинину, и что очень сожалею о том, что Химическое Общество не предложило мне этого раньше, что я советую ему переговорить с Н. Н. Зининым, и, может быть он уступит кабинет Университету. Не скрою, что я сама тотчас же поехала к Н. Н. Зинину и просила его, в случае обращения к нему Химического Общества, уступить кабинет, так как все же Петербургскому Университету, где работал Дмитрий Иванович, больше подобает владеть его кабинетом. Это все состоялось. С великим сожалением Н. Н. Зинин отказался от своей мечты иметь кабинет и библиотеку Дмитрия Ивановича в Новочеркасском Политехникуме и великодушно уступил его Петербургскому Университету.

Через несколько дней ко мне является попечитель учебного округа Мусин-Пушкин. Он заявил, что я должна отдать кабинет Дмитрия Ивановича государству, а не частному обществу, которое может когда-либо прекратить свое существование. Я ему ответила то же, что и Химическому Обществу: „Кабинетом распоряжаться больше не могу, что, конечно, предпочла бы передать кабинет государству, если бы получила это предложение раньше". Химическое Общество уступило кабинет-библиотеку Дмитрия Ивановича государству. Решено было его устроить в Университете, в нашей бывшей квартире. Отведено было для этого три комнаты. Первая без определенного назначения, там можно было читать, посетители расписывались в книге. Вторая комната — собственно кабинет — точно в таком виде, в каком он был при Дмитрии Ивановиче, и в третьей комнате были помещены венки, которые были возло-

жены на гроб. Все стены от пола до потолка были тесно увешены ими. Интересны были не столько самые венки, сколько надписи. Между роскошнейшими венками и красивыми выразительными надписями, находился один, который всегда меня трогал. Он был очень маленький из незабудок с надписью: „Начальнику отцу".

Кабинет устраивали, т.-е. ставили все, как было при жизни Дмитрия Ивановича, вместе со мной Михайло Тропников, слуга Дмитрия Ивановича, и Екатерина Никифоровна Комиссарова, жившая у нас 27 лет и присутствовавшая при кончине Дмитрия Ивановича.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И ПРИМЕЧАНИЯ [1])

Абель Фридрих-Август (1827—1902), английский химик, директор химической лаборатории англ. военного мин-ства в Вульвиче. Известен своими исследованиями пироксилина, сыгравшими большую роль в развитии военного дела — 104, 105, 109.

Айвазовский Иван Константинович (1817—1900), известный живописец-маринист — 57, 58.

Александр II Николаевич (1818—1881), император — 6.

Алиса (Александра) (1844—1926), дочь датского короля Христиана IX, супруга с 1863 г. принца Альберта-Эдуарда Валлийского, с 1901 г. короля английского Эдуарда VII — 110, 113.

Андерсон Вильям (Anderson William) (1835—1898), председатель секции инженерных наук Британской ассоциации, профессор инженерных наук в Ливерпуле (1898) — 101, 102, 104, 106, 108, 109.

Андерсон, дочь Вильяма Андерсон — 106.

Андерсон, жена Вильяма Андерсон — 106.

Андреева Мария Федоровна, рожд. Юрковская (р. 1869), дочь режиссера Александринского театра Фед. Ал. Юрковского и Марии Павловны Юрковской. Первым браком была замужем за Желябужским, вторым браком за писателем М. Горьким. Артистка. Андреева—сценическая фамилия — 2.

Андреевский Иван Ефимович (1831—1891), юрист, историк русского права. Ректор Петербур. университета в 1883—1887 гг. — 164.

Анна Иоанновна (1693—1740), с 1730 г. императрица — 72.

Антоний (Вадковский) (1846—1912), петербургский митрополит в 1898—1912 гг. — 145.

Армстронг Вильям Джордж (Armstrong William George) (1810—1900), английский инженер и изобретатель электро-паровой машины, гидравлического крана, аккумулятора. В 1855 г. сконструировал нарезную пушку — изобретение, создавшее переворот в артиллерии — 104, 109.

Аррениус Свант-Август (Arrenius) (1859—1927), знаменитый шведский физико-химик — 101.

Байрон лорд Джордж — Ноэль Гордон (1788—1824), великий английский поэт — 21, 161.

[1]) При составлении примечаний мы пользовались указаниями Н. П. Чулкова и П. Д. Эттингера, коим и приносим нашу глубокую благодарность.

Барончелли Энрикетта — 31, 32.

Барсукова Елена Борисовна (1855 — 1926), преподавательница живописи — 8.

Басаргин Николай Васильевич (1799—1861), декабрист, с 1827—1836 был на каторге, с 1836—1856 на поселении в Сибири. Автор известных „Записок" (отд. изд. в 1872 г.) — 40.

Басаргина Ольга Ивановна, рожд. Менделеева (р. 1814 г.), сестра Дмитрия Ивановича, жена декабриста Н. В. Басаргина, в первом браке была за Медведевым — 40, 99.

Беггров владелец художественного магазина в Петербурге — 151.

Бекетов Андрей Николаевич (р. 26 ноября 1825, ум. 1 июля 1902), ботаник, засл. проф. Петербургского ун., ректор в 1876—1883 г.г. — 3, 21, 24, 39, 46, 52, 72, 131, 134, 164.

Бекетова Екатерина Андреевна, см. Краснова.

Бекетова Елизавета Григорьевна, рожд. Корелина (1836—1902), жена Андр. Ник. Бекетова, дочь известного путешественника и натуралиста Г. С. Корелина. Переводчица — 72, 131—134, 136.

Бекетова Мария Андреевна (р. 1862 г.), младшая дочь А. Н. и Е. Г. Бекетовых, переводчица — 70, 131, 133, 134.

Бекетова София Андреевна, см. Кублицкая-Пиоттух.

Беклемишев Владимир Александрович (1861 — 1919). Скульптор. Профессор и ректор в 1905—10 гг. Ак. Худож. — 17, 146.

Белый Андрей (р. 1880). Литерат., псевдоним Бориса Никол. Бугаева; известный писатель. Сын извест. математика Н. В. Бугаева — 136, 137, 157.

Бертело Пьер-Эжен-Марселен (1827—1907), знаменитый французский химик и госуд. деятель — 163.

Бетховен ван Людвиг (1770—1827), величайший мировой композитор — 52, 163.

Бехтерев Владимир Михайлович (р. 1857—1927), академик, известный врач-невропатолог и психиатр, профессор — 145.

Бирон Эрнест-Иоганн (1690—1772), временщик при Анне Иоанновне — 130.

Блок Александр Александрович (1880—1921), знаменитый поэт — 52, 72, 130, 131, 133—140.

Блок Александра Андреевна. См. Кублицкая Пиоттух.

Блок Любовь Дмитриевна, рожд. Менделеева (р. 1882), старшая дочь Д. И. и А. И. Менделеевых, жена поэта А. А. Блока — 46, 53, 120, 124, 130—131, 133—141, 143, 145, 149, 151, 157, 159, 163—165.

Блумбах Федор Иванович (р. 1864), управляющий Палатой Мер и Весов (1922) — 116, 155.

Богданов Модест Николаевич (1841—1888), известный зоолог и путешественник, проф. Петерб. университета, автор книги „Из русской природы" — 164.

Бок фон Александр Романович (1829—1895), скульптор, профессор Академии Художеств — 9, 17.

Боргман Иван Иванович (р. 1849), физик, профессор Петербург. универ, ректор в 1905—1910 гг.—165.

Борисов, бывш. ямщик, земский деятель, содержатель постоялого двора — 98.

Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович (1870— 1905), выдающийся живописец — 132.

Боруздина Варвара Матвеевна (р. 1863) — 8.

Боткин Сергей Петрович (1832—1889), знаменитый врач-клиницист и общественный деятель — 26, 103.

Боткина Мария Сергеевна старшая дочь С. П. Боткина от второго брака — 103, 127, 128.

Браз Осип Эмануилович (р. 1873), портретист и пейзажист—159.

Брамвель Фредерик (Bramwell Frederick Joseph) (1818—1903), английский гражданский инженер, президент Института Гражданских Инженеров (1884—1885), президент Британской ассоциации (1888), секретарь Велико-британского Королевского Общества поощрения и распространения наук и полезных знаний (1898) — 104.

Браунер Богуслав (р. 1855), известный чешский химик, проф. ун-та в Праге — 107.

Бронников Федор Андреевич (1827—1902), исторический живописец, профессор Академии Худож. — 27, 30.

Бруни Николай Александрович (р. 1856), академик живописи, профессор истории искусств Акад. Художеств (с 1909 г.) — 13, 16.

Брюллов Карл Павлович (1799—1852), знаменитый русский живописец — 10, 14.

Бугро Вильям-Адольф (1825—1905), известный французский художник, представитель слащавой академической живописи — 103.

Бутлеров Александр Михайлович (1828—1886), известный химик и общественный деятель, профессор Петербургского ун-та в 1869—1886 гг., академик — 3, 131, 164.

Быстров Николай Иванович (1841—1906), профессор детских болезней Военно-Медиц. Акад. — 70.

Вагнер Николай Петрович (1829—1907), зоолог, автор (под псевдонимом „Кота-Мурлыки") беллетристических произведений — 3, 24, 130, 164.

Вагнер Рихард (1813—1883), великий немецкий композитор — 28.

Вальден Павел Иванович (Walden P.) (р. 1863), известный химик. Ординарный академик Академии Наук. Автор многочисленных трудов на русском и иностранных языках; биография Менделеева на нем. яз. „Dmitri Iwanowisch Mendeleeff" (1908) — 156.

Ванновский Петр Семенович (1822—1904), в 1881—1897 гг. военный министр — 94.

Вант-Гофф Якобус Гендрикус (Vant Hoff) (р. 1852) известный химик и физик. Нидерландец. Профессор в Утрехте, потом в Амстердаме, затем в Берлине — 101, 129.

Васнецов Аполлинарий Михайлович (р. 1856), известный живописец, председатель Общества „Старая Москва" — 4, 24.

Васнецов Виктор Михайлович (1848 — 1926), знаменитый исторический и религиозный живописец — 4, 24.

Вейнберг Рихард Лазаревич (р. 1867), доктор медицины, профессор анатомии Медицинского Института — 145, 146.

Веласкес Диего Родригес (1599—1660), великий испанский живописец-портретист — 42.

Велер Фридрих (1800—1882), немецкий химик — 163.

Вениг Карл Богданович (1830 — 1908), профессор живописи — 14.

Верди Джузеппе (1813—1901), знаменитый итальянский композитор, автор оперы „Травиата" — 161, 162.

Верещагин Василий Васильевич (1842—1904), известный

живописец—баталист, пацифист — 24.

Верещагин Василий Петрович (1835—1910), профессор Академии Художеств по портретной и исторической живописи — 9, 14, 15.

Верн Жюль (1828 — 1905), известный французский писатель — 125, 143, 159.

Веселовский Константин Степанович (1819—1901), экономист, с 1855 г. академик, в 1857 — 1890 гг. непременный секретарь Академии Наук — 119.

Вессель Георгий Христианович, педагог, позднее служил в Сенате — 23.

Виллевальде Богдан Павлович (1818—1903), живописец баталист, проф. Ак. Худ. — 9, 16, 17.

Виллегаси Кордеро Хозе (р. 1844 г.), испанский живописец, ученик знаменитого Фортуни — 33, 34.

Витте, граф Сергей Юльевич (р. 1849—1915), известный государственный деятель — 129.

Воейков Александр Иванович (р. 1842—1916), известный метеоролог и географ, профессор Петербургского унив. — 24.

Военный министр, см. Ванновский П. С.

Волков Ефим Ефимович (р. 1844—1920), пейзажист — 24, 53.

Воронов А. М., городской голова гор. Клина, Московской губ. (1887) — 78, 97.

Воскресенский Василий Алексеевич (1845—1898), профессор педаг. института — 163.

Врубель Михаил Александрович (1856 — 1910), знаменитый русский художник — 12, 16.

Вышнеградский Иван Алексеевич (1830—1895), ученый и государственный деятель, профессор механики в Технологич. Институте Директор Технолог. Институт. в 1875—1878. Министр финансов в 1888 — 1892 — 131.

Галанин Модест Иванович (1852—1896) врач по детским болезням и гигиенист — 70.

Галилей (1564 — 1642), великий основатель механики, как науки о движении — 163.

Гапон Георгий Александрович (р. около 1870—1906), священник-провокатор, организатор „9 января" 1905 г. — 128.

Гарибальди Джузеппе (1807—1882), знаменитый итальянский патриот-революционер — 107, 157.

Гаршин Всеволод Михайлович (1855—1888), известный писатель — 52

Гей-Люссак Луи-Жозеф (1778—1850), знаменитый французский химик и физик; совершил воздушные путешествия на высоту 7016 м. для физических наблюдений — 79.

Георг V (р. 1865), английский король (с 1910 г.), сын Эдуарда VII (1841—1910) и Алисы, дочери датского короля Христиана IX — 108, 109.

Георгиевский, служащий Палаты Мер и Весов (1900 годы) — 162.

Герсеванов Михаил Николаевич (1830 —1907), инженер, автор „Лекций о морских сооружениях"—74.

Герцен Александр Иванович (1812—1870), знаменитый писатель — 17.

Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832), великий немецкий поэт — 40.

Гинцбург Илья Яковлевич (р. 1860 г.), академик, скульптор — 17, 156.

Гладстон Джон-Холь (Gladstone John-Hal) (1827—1902), англий-

ский химик и деятель просвещения. С 1874 г.—первый председатель Физического О-ва; 1877—1879 г. председатель Химического О-ва; 1873—1894 гг. член Лондонского Школьного Совета — 104.

Глинка Михаил Иванович (1804 — 1857), великий композитор, основатель национальной русской музыки — 163.

Глэшер Джемс (1809 — 1903), английский метеоролог — 79.

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852), знаменитый русский писатель — 34.

Голембиовская Екатерина Александровна, рожд. Грязева (р. 1859), была замужем за художником Казимиром Игнатьевичем Голембиовским — 8.

Головин Владимир Евграфович, присяжный поверенный—39.

Горчакова кж. Елена Сергеевна (1824—1897), начальница III гимназии в Москве с 1865 г., четвероюродная сестра Л. Толстого — 33.

Горький Максим (Алексей Максимович Пешков) (р. 14 марта 1868), известный писатель — 2.

Гоу, петербургский ювелир — 150.

Грагам, см. Грегем.

Градоначальник, см. Грессер П. А.

Грегем Томас (1805 — 1869), знаменитый английский химик — 163.

Грессер Петр Аполлонович (1832—1892), петербургский градоначальник — 119.

Грибоедов Александр Сергеевич (1795 — 1829), знаменитый русский писатель — 136, 137.

Григорович Дмитрий Васильевич (1829—1899), известный писатель — 4.

Григорович Екатерина Константиновна (Катенька) (ум. в 1890-х гг.), дочь Констан. Григорович и Ольги Яковлевны рожд. Капустиной, внучатная племянница Д. И. Менделеева—97, 98, 108, 152.

Григорович Ольга Яковлевна, рожд. Капустина, дочь Якова Семенов. и Екатерины Иван. рожд. Менделеевой, племянница Д. И. Менделеева—152.

Григорьев Егор, крестьянин дер. Ольгино, Нагорской вол., Калязинского у., Тверской губ.—89, 90, 94.

Григорьев Макар, крестьянин дер. Ольгино, Нагорской вол., Калязинского уезда, Тверской губ.— 90 — 92.

Грязева Екатерина Александровна, см. Голембиовская Е. А.

Губкина Надежда Яковлевна, рожд. Капустина (1855—1922), дочь Якова Сем. и Екат. Ив. рожд. Менделеевой, племян. Д. И. Менделеева; автор беллетристических произведений, печатавшихся в 1880 — 1890 гг. и составительница книги „Памяти Д. И. Менделеева. Семейная хроника в письмах матери, отца, брата, сестер, дяди Д. И. Менделеева". СПБ. 1908—1—5, 8, 9, 17, 19, 21, 23, 25, 46, 54, 98, 99, 103, 108, 127, 135, 142—144, 149, 151, 152, 162.

Густавсон Гаврил Гаврилович (1842—1908), профессор химии, автор речи „Д. И. Менделеев и органическая химия", напечатанной в трудах I Менделеевского С'езда (С.-Петербург, 1909)—152, 153.

Гутковская Екатерина Карловна, дочь Карла Казимировича Гутковского и Екатерины Яков., рожд. Капустиной, сотрудница Д. И. Менделеева в семидесятых годах—1.

Гутковская Екатерина Яковлевна, рожд. Капустина, дочь Як. Сем. Капустина, замужем была за

Карлом Казимировичем Гутковским—1, 2.

Гутковский, сын Карла Казим. Гутковского и Екат. Яковл., рожд. Капустиной—1.

Гутковский, второй сын Карла Казимировича и Екат. Як., рожд. Капустиной—1.

Дадьян, князь—70.

Данте Алигьери (1265—1321), великий итальянский поэт—36, 37,135, 163.

Деви Гэмфри (1778—1829), знаменитый английский химик—101, 164.

Декарт Рене (1596—1650), знаменитый философ—163.

Делянов граф Иван Давыдович (1818—1897), министр народного просвещения в 1882—1897 гг.—117, 118, 121, 153.

Деннер Бальтазар (1685—1749), известный немецкий живописец—61.

Джевецкий, аэро-динамик—76.

Джованина, итальянская натурщица—12.

Дидро Дени (1713—1784), знаменитый французский энциклопедист—163.

Диккенс Чарльз (1812—1870), знаменитый английский писатель—115.

Диллон Мария Львовна, (р. 1858), скульптор—17.

Докучаев Василий Васильевич (1846—1903), известный геолог, проф. Петербургского университета—3, 39, 46.

Доре Густав (1833—1883), знаменитый французский иллюстратор, живописец, скульптор и гравер—157.

Достоевский Федор Михайлович (1821—1881)—4, 17, 154.

Дубовской Николай Никанорович (1859-1918), пейзажист, профессор Академии Художеств—52.

Дьюар Джемс (р. 1842), известный английский химик. Мировую славу доставили Д. долголетние изыскания по сжижению газов и добыванию низких температур—101, 105.

Дюма Жан-Батист (1800—1884), известный французский химик—163.

Жерар Шарль-Фредерик (1816—1856), франц. химик—163.

Залеман Гуго Романович (1859—1919), скульптор, профессор Академии Художеств. — 17.

Занд Жорж (1804—1876), известная французская писательница—74.

Зарудная Екатерина Сергеевна. См. Кавос Е. С.

Захаров Яков Дмитриевич (1765—1836), химик, академик, в 1804 г. совершил первый в России научный полет на воздушном шаре—79.

Зверинцев, аэронавт—76.

Зинин Николай Николаевич (1854—1910), директор Донского Политех. Института (1907)—165, 166.

Иванов Александр Андреевич (1806—1858), знаменитый русский живописец—163.

Иванов Михаил Михайлович (1849), музыкальный рецензент и композитор—4.

Ильин Николай Павлович (1831—1892), профессор и директор (с 1879) Технологического Института—70, 71.

Иностранцев Александр Александрович (1843 — 1920), известный геолог, проф. Петербургского университета — 3, 24, 39, 46, 131.

Иоркский, принц, см. Георг V.

Исеев Петр Федорович (р. 1831, ум.), конференц-секретарь Академии Художеств (1868—1889)—15, 50.

Истомины, клинские купцы—95.

Кабанель Александр (1823—1889), французский излюбленный портретист светского общества. При Наполеоне III стоял во главе Ecole de Beaux Arts—103.

Каблуков Иван Алексеевич (р. 1857 г.), профессор химии Московского университета—101.

Кавос Екатерина Сергеевна, рожд. Зарудная (1860—1919), замужем была за Юлием Цезаревичем Кавос, известная портретистка—8.

Капустин Михаил Яковлевич (1847—1920), сын Як. Сем. Капустина и Екат. Ив., рожд. Менделеевой, племянник Д. И., проф. гигиены, член и тов. председателя III Госуд. Думы—1, 2, 152.

Капустин Петр Яковлевич, сын Як. Сем. Капустина и Екат. Ив. рожд. Менделеевой, племянник Д. И., инженер путей сообщения—1, 2, 3, 23, 152.

Капустин Семен Яковлевич (1828—1891), сын Якова Семен. Капустина, писатель по вопросам народного хозяйства—1, 2.

Капустин Федор Яковлевич (р. 27 февр. 1856 г.), сын Як. Сем. и Ек. Ив. Капустиных, профессор физики Петербургского университета, сотрудник Дм. Ив. Менделеева в семидесятых годах—2, 3, 20, 23, 152.

Капустина Анастасия Михайловна, жена Мих. Як. Капустина, племянника Д. И. Менделеева—1.

Капустина Екатерина Ивановна, рожд. Менделеева, (р. 1816 ум. в окт. 1901) сестра Д. И. Менделеева, замужем с апреля 1839 за Як. Сем. Капустиным—1, 2, 19, 20, 22, 23, 25, 40, 54, 97, 151, 160.

Капустина Екатерина Яковлевна. См. Гутковская Е. Я.

Капустина Надежда Яковлевна. См. Губкина Н. Я.

Капустина Ольга Яковлевна. См. Григорович О. Я.

Капустина Софья Михайловна, дочь Мих. Як. и Анаст. Мих. Капустиных—1.

Капустины, семья Екатерины Михайловны Капустиной—1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 25, 46, 152.

Карбонеро Морено, испанский исторический живописец второй половины XIX века—33, 34.

Каррик, петербургский фотограф, отец современного карикатуриста В.В. Каррика—155.

Катенька. См. Григорович Екат. Конст.

Катя. См. Комиссарова Е. Н.

Керзин Михаил Аркадьевич (р. 1883), скульптор—146.

Киселев Александр Александрович (1838-1911), пейзажист профессор Академ. Худ.—15, 24.

Клейбер Иосиф Андреевич (1863—1892), астроном, приват-доцент Петерб. университета—93.

Клодт, барон Михаил Константинович (1832—1902), пейзажист, профессор Академ. Художеств—8, 9, 24, 58, 61.

Клодт, барон, Михаил Петрович (1835—1914), живописец—жанрист—24, 53, 54.

Кованько Александр Матвеевич, (1856—1919), с 1885 г. начальник команды военных аэронавтов, виднейший деятель русского воздухоплавания. Все русские воздухоплаватели вышли из школы Кованько 78—82, 99, 100.

Коллен Луи—Жозеф—Рафаэль (р. 1850), французский живописец—103.

Комиссарова Екатерина Никифоровна (ум. в 1925 г.), слу-

га Д. И. и А. И. Менделеевых — 47, 108, 127, 128, 167.

Кондратьев Александр Иванович (р. 1845), врач — 70.

Коновалов Дмитрий Петрович (р. 1856), выдающийся химик, профессор, академик. В настоящее время президент Палаты Мер и Весов— 144, 145.

Константин Константинович великий князь (1858—1915), поэт, с 1889 г. президент Академии Наук—55.

Коперник Николай (1473 — 1543), великий польский астроном — 163.

Коплей Годфрей (Copley) (ум. 1709), основатель его имени медалей, выдаваемых Королевским Обществом (Royal Society's Copley medal)—164.

Корнильев Василий Дмитрич (1793—1851), брат М. Д. Менделеевой, матери Дм. Ив. Менделеева — 69, 99.

Коровин, врач — 68.

Костенич Иерофей Васильевич, профессор клинического Института Елены Павловны, с 1887 Военно-Медицинской Академии — 125, 126.

Котарбинский Вильгельм Александрович (р. 1854), исторический живописец — 24, 31, 33, 34.

Краевич Константин Дмитриевич (1833 — 1892), известный физик, составитель учебников, профессор Петерб. унив. — 24, 39, 46, 76,—78, 97, 98, 161.

Крамская, жена художника — 53, 54.

Крамской Иван Николаевич (1837—1887), известный живописец, идеолог передвижных выставок — 24, 48, 50, 54, 57, 58, 63, 155, 156.

Краснова Екатерина Андреевна, рожд. Бекетова (1855-1892), дочь А. Н. и Е. Г. Бекетовых, жена писателя Платона Николаевича Краснова. Писательница. „Стихотворения Е. А. Бекетовой" вышли отдельным изданием в 1895 г. „Рассказы" 1896 г.— 52, 53, 72, 131, 133, 134.

Краснушкина Екатерина Захаровна (р. 1858), художница-баталистка.—8, 16, 17.

Крейнгель, врач—161, 162.

Крукс Вильям (р. 1832), выдающийся английский физик и химик. Открыл новый металл (талий)—новый элемент — (викторий). Писал статьи в защиту реальности спиритических явлений—104, 106.

Крылов Алексей Николаевич (р. 1863 г.), академик - математик—46.

Кублицкая-Пиоттух Александра Андреевна, рожд. Бекетова (1860—1923), третья дочь проф. А. Н. Бекетова, первым браком была замужем с 1878 г. за проф. А. Л. Блоком (1852—1909), вторым за Ф. Ф. Кублицким-Пиоттух, мать поэта А. А. Блока—72, 131, 133, 134, 136, 140.

Кублицкая-Пиоттух София Андреевна, рожд. Бекетова (р. 1857), вторая дочь А. Н. и Е. Г. Бекетовых. Замужем за Адамом Феликсовичем Кублицким-Пиоттух, братом Франца Фел. К-П.—72, 131, 133, 134.

Кублицкий-Пиоттух Андрей, двоюродный брат А. А. Блока — 134.

Кублицкий-Пиоттух Феликс (Фероль), двоюродный брат А. А. Блока—134.

Кублицкий-Пиоттух Франц Феликсович (ум. 1920), отчим А. А. Блока с 1890 г. При старом режиме служил в гвардии (гренадерский полк), при врем. прав. и советской власти сначала в армии, потом по военному ведомству—140.

Кузнецов Николай Дмитриевич (р. 1850), известный портретист—24.

Кузьмина Мария Дмитриевна рожд. Менделеева (р. 1886), вторая дочь Д. И. и А. И., охотница, преподавательница в сельскохозяйственной школе Флондено около Завидова—69, 98, 120, 124, 125, 134, 139, 140, 143, 145, 149, 150, 157, 159, 163, 165.

Куинджи Архип Иванович (1842 — 1910), известный живописец. Его картина „Ночь на Днепре" была выставлена в 1880 г. О ней писали Менделеев и Тургенев—15, 24, 50, 53—55, 57, 69, 72, 89, 161.

Куинджи, жена А. И. Куинджи—55, 58, 66.

Кушелевская галлерея, собрание картин и скульптуры, завещанное Академии Художеств гр. Ник. Александр. Кушелевым-Безбородко (1834—1862)—16, 17.

Лаверецкий Николай Акимович (1839—1907), скульптор, профессор Акад. Худ.—9, 17.

Лавуазье Антуан-Лоран (1743—1794), знаменитый французский химик—163.

Лагода Виктория Антоновна (ум. 1918)—20.

Лагода-Шишкина Ольга Антоновна (1850 — 1881), пейзажистка, жена художника Ив. Ив. Шишкина—8, 9, 17, 20, 22, 23, 54.

Лавров Ефим Хрисанфович, садовник Д. Ив.—97, 98.

Ланцерт Федор Павлович (1833 — 1889), профессор анатомии Военно-Медицинской Академии—6, 16.

Левшина Вера Федоровна, рожд. гр. Соллог б (р. 1875), дочь гр. Ф. Л. Соллогуба—33.

Лелева Мария Павловна, см. Юрковская М. П.

Лемох Варвара Кирилловна, см. Менделеева В. К.

Лемох Варвара Федоровна, рожд. Шохина (р. 1847), жена К. В. Лемоха—50.

Лемох Кирилл Викентьевич (1841—1910), бытовой живописец—24, 47, 50, 51.

Ленци Павел Александрович (ум.), инженер путей сообщения—23.

Лещева Феозва Никитична, см. Менделеева Ф. Н.

Лещина-Мартыненко Александра Владимировна, рожд. Синегуб (р. 1856)—20, 25—27, 43—45.

Лосева София Николаевна (р. 1858, ум.), художница — 8, 13.

Мазуровский Виктор Викентьевич (р. 1859), живописец—17.

Майков Аполлон Николаевич (1821—1897), известный поэт—159.

Макаров Степан Осипович (1848—1904), вице-адмирал. В 1901 г. совершил экспедицию на землю Франца Иосифа на выстроенном им ледоколе „Ермак"—129.

Маковский Владимир Егорович (1846—1920), известный бытовой живописец, профессор, ректор Академии Художеств—15, 24, 50.

Максимов Василий Михайлович (1844—1911), живописец-жанрист, академик с 1871 г. член Т-ва Передвижников—4, 24, 53.

Мамоновы, семья Николая Евграфовича Мамонова—5.

Мамонтов Савва Иванович (1852—1918), известный меценат, основатель частной оперы, строитель Моск. Ярославской ж. д.—4.

Маркова София Александровна, рожд. Погосская (р. 1858) дочь писателя А. Ф. Погосского—8, 13, 17, 18.

Мартен Анри (р. 1860) французский живописец. Его живописная декорировка в городск. думах Парижа, Тура и Тулузы—13.

Мария Федоровна (р. 1847), супруга Александра III—113.

Медведев, первый муж Ольги Ивановны Менделеевой—40.

Медведева Ольга Ивановна, см. Басаргина О. И.

Менар Эмиль-Рене (р. 1862), франц. живописец, представитель „школы мрака", возникшей в противовес импрессионизму и борющейся за материальность изображаемого, за глубокое знание природы. В Москве в Щукинском собрании есть его пейзаж—59.

Менделеев, брат Дмитрия Ивановича—99.

Менделеев Василий Дмитриевич (1886—1922), младший сын Д. И. и А. И. Менделеевых—69, 70, 98, 107, 108, 120, 124, 134, 139, 143, 145, 149, 150, 157, 159, 163, 165.

Менделеев Владимир Дмитриевич (р. 2 янв. 1865, ум. 19 дек. 1899), сын Д. И. и Ф. Н. Менделеевых—20—22, 41, 46, 81, 97, 98, 149, 150, 157—159, 163.

Менделеев Дмитрий Иванович (р. 27 янв. 1834 г., ум. 20 янв. 1907), упоминается почти на всех страницах.

Менделеев Иван Дмитриевич (р. 13 дек. 1883), старший сын Д. И. и А. И. Менделеевых, философ-математик—48, 69, 98, 120, 124, 129, 134, 139, 143, 145, 149, 150, 157, 159, 161—165.

Менделеев Иван Павлович (ум. в дек. 1847), отец Дм. Ив. Менделеева—69, 99, 163.

Менделеева Анна Ивановна, урожд. Попова (р. 27 февр. 1860), с января 1882 жена Дмитрия Ивановича Менделеева, автор „Воспоминаний", упоминается почти на всех страницах.

Менделеева Варвара Кирилловна, рожд. Лемох (р. 1876 г.), дочь художника К. В. и В. Ф. Лемох, жена старшего сына Дм. Ив., Владимира Дм. Менделеева—50, 158.

Менделеева Екатерина Ивановна, см. Капустина Е. И.

Менделеева Любовь Дмитриевна, см. Блок Л. Д.

Менделеева Мария Дмитриевна, рожд. Корнильева (р. 16 янв. 1793, ум. 27 сент. 1850), мать Д. И. Менделеева—69, 99, 163.

Менделеева Мария Дмитриевна, см. Кузьмина М. Д.

Менделеева Мария Ивановна, см. Попова М. И.

Менделеева Ольга Дмитриевна, дочь Дм. Ив. и Ф. Н Менделеевых—20, 22, 41.

Менделеева Ольга Ивановна, см. Басаргина О. И.

Менделеева Феозва Никитична, рожд. Лещева (1828—1906), первая жена Дм. Ив. (с 1862)—20, 22, 25, 40, 41.

Мендельсон Арнольд (р. 1855), композитор, внук знаменитого композитора Ф. Мендельсона—114.

Мендельсон-Бартольди, Якоб-Людвиг-Феликс (1809—1847), знаменитый немецкий композитор—114.

Меншуткин Николай Александрович (1842—1907), химик, профессор Петербургского университета—3, 24, 164.

Мечников Илья Ильич (1846—1926), знаменитый ученый, зоолог и бактериолог—125, 131.

Митчерлих Эйльгард (1794—1863), известный немецкий химик—163.

Михайла, см. Тропников М.

Михальцева Елизавета Петровна, художница, ученица Ак. Худ. с 1872 г.—24, 59.

Монд Людвиг (Mond Ludwig) (1839—1909), британский химик, (немец по рождению). Изобретатель гальванической батареи. Основал в 1896 г. Исследовательскую лабораторию имени Деви и Фарадея, завещал большую часть своего собрания картин нации—104, 107.

Монд, жена Людвига Монда—105.

Мрозовская Елена, художница-фотограф—155.

Мультановский Помпей Яковлевич (р. 1839), хирург, консультант в Николаевском военном госпитале—70.

Мусин-Пушкин, граф, Александр Алексеевич (р. 1855—ум.) педагог, попечитель Петербург. учебного округа, сенатор—166.

Мушкин Андрей Прохорович, крестьянин Нагорской волости, Калязинского уезда, Тверской губ.—92, 93.

Мясоедов Григорий Григорьевич (1835—1911), академик живописи, передвижник—24, 52.

Назини Рафаэло (Nasini Raffaelo), химик, профессор в Падуанском университете (1893—1907), в Пизанском университете с 1907 г., член Римской Научной академии (Accademia dei Lincei) с 1906 г., член Венецианского Института науки, литературы и искусств (R. Instituto Veneto di Szienze, Lettere ed Arti)—107, 157.

Наумова—103.

Нильсон Христина (1843—1921), известная оперная певица, шведка—4.

Ницше Фридрих-Вильгельм (1844—1900), знаменитый немецкий философ—149.

Ньюланд Джон-Александр-Рене (Newlands, John-Alexander) (1838—1898), английский химик, первый предложивший концепцию периодичности в химических элементах. Она совершенно отвергалась, пока не была последовательно разработана Менделеевым и др., когда она и стала в ряде важнейших современных химических теорий—104.

Ньютон Исаак (1642—1727), величайший английский физик и математик—102, 163.

Овсянников Филипп Васильевич (1827—1906), физиолог и гистолог, профессор Петербургского универ.—3.

Одлинг Вильям (Odling William), профессор химии Оксфордского университета и президент Химического Института при нем—115, 116.

Одлинг, жена профессора Оксфордского университета—111, 112.

Одлинг, сын профессора Оксфордского унив.—115.

Одлинг, второй сын пофессора Оксфордского унив.—115.

Олсуфьев, гр., Адам Васильевич (1833—1901), владелец имения Никольского-Обольянинова близ Москвы, близкий знакомый Л. Толстого—75—77.

Олсуфьев, гр., Михаил Адамович (1860—1918), сын Адама Васильевича и Анны Михайловны рожд. Обольяниновой—100.

Орлов Иван Иванович, врач—108, 140.

Орлов Михаил Николаевич (1866—1907), сын Ник. Мих. Орлова, внук приятеля Пушкина М. Ф. Орлова—100.

Орловский Владимир Донатович (1842—1914), пейзажист, профессор Ак. Худ.—18, 24.

Осипов Владимир Викторович, живописец—13, 14.

Остроухов Илья Семенович (р. 1858), пейзажист, попечитель Третьяк. галлереи (1898—1913 г.), создатель музея русской живописи и иконописи—12, 24.

Павлов Дмитрий Петрович химик, ассистент Д. И. Менделеева—71, 154.

Павлов Иван Петрович (р. 1849), знаменитый физиолог — 71, 154.

Перовская София Львовна (1854—1881), известная революционерка, участница 1 марта 1881 г.—50.

Петерсон Ольга, переводчица бретонских легенд—20.

Петр I (1672—1725), император—72, 163.

Петрарка, Франческо (1304—1374), величайший из итальянских поэтов и гуманистов—135.

Петрушевский Федор Фомич (1828—1904), физик, профессор Петерб. унив., автор книги „Краски и живопись"—24, 164.

Пиль Джон (Peile John) (1837—1910), английский физиолог, декан Кембриджского Christ's College (один из факультетов). С 1904 г.—член Британской Академии—109, 110.

Пиль, жена Джона Пиля—109, 110.

Плещеев Алексей Николаевич (1825—1893), известный поэт—49.

Погодин Прокофий Иванович, трактирщик в селе Спасе на Углу, Калязинского уезда, Тверской губернии—92.

Погосская София Александровна, см. Маркова С. А.

Погосский Александр Фомич (1816—1874), известный писатель для народа, издатель журналов „Солдатская Беседа" и „Народная Беседа"—8, 17.

Позен Леонид Владимирович (1849—1921), скульптор—24.

Покровский, врач в Петербурге (1907),—141.

Поленов Василий Дмитриевич (1844—1927), известный живописец, с 1879 г. участник передвижных выставок—4, 12, 16.

Понсон дю-Террайль (1829—1879), французский романист, автор многотомных романов „Похождения Рокамболя" и „Воскресший Рокамболь"—125, 159.

Попов, муж Марии Ивановны. рожд. Менделеевой, сестры Д. И. Менделеева—152.

Попов Иван Евстафьевич (1827—1883),—отец автора „Воспоминаний"—25, 27, 40, 45, 69, 163, 164.

Попова Анна Логиновна, рожд. Ефремова (1830—1898), мать автора „Воспоминаний"—дочь инженера—40, 45, 46, 103.

Попова Мария Ивановна, см. Сафонова М. И.

Попова Мария Ивановна) рожд. Менделеева (р. 1827, ум.) сестра Дм. Ив.—99, 142, 152.

Прадилла и Ортиц, Франсиско (р. 1847), испанский живописец, известный акварелист, директор Мадридской Академии—33, 34.

Прахов Адриан Викторович (1846—1916), историк искусства и археолог, в 1875—1887 гг. профессор истории изящных искусств в Академии Художеств, в 1875—1878 гг. редактировал иллюстрированный журнал „Пчела", в 1904 г.—журнал „Художественные сокровища России"—4, 5, 6, 16, 24, 33, 165.

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837)—136, 159.

Равот, немецкая художница—36, 37.

Рагозин Виктор Иванович (р. 1833), почетный инженер технолог. Устроил первый спец. завод для приготовления нефтяных смазочных масел.

Написал работы по технологии нефти—41, 44.

Рамзай Вильям (Ramsay) (р. 1852), знаменитый английский профессор органической химии—107.

Рафаэль Санти (1483—1520), великий итальянский художник — 107, 163.

Репин Илья Ефимович (р. 1844), знаменитый живописец. Картина „Крестный ход" — 1883 г., „Не ждали"—1884 г., „Иоанн Грозный и его сын Иван"—1885 г., „Чудо Николая"—1896 г.—12, 15, 16, 24 47, 50—54, 58, 69, 77, 89, 97, 155, 156.

Репин Юрий Ильич (р. 1875), живописец, сын Ильи Еф. и В. А. Репиных—51, 52, 53.

Репина Вера Алексеевна, рожд. Шевцова, жена И. Е. Репина — 51, 33.

Репина Вера Ильинишна, старшая дочь И. Е. и В. А. Репиных, артистка Александринского театра—51—53.

Репина Надежда Ильинишна—51—53.

Репина Татьяна Ильинишна, см. Язева Т. И.

Рессель Вильям-Джемс (Russel William James) (1830—1909), английский химик, 1868—1870 препод. химии в Медиц. школе в Лондоне. Профессор естеств. философии в Бедфордском Колледже в Лондоне. 1889—1891 председатель Химич. общества. Один из основателей Химич. Института, был его президентом 1894—97 гг.—104, 109.

Рихтер, немецкий композитор, вероятно замечательный современный капельмейстер Ганс Рихтер (р. 1843 г.), исполнитель Вагнера в Зап. Европе и Петербурге—28.

Риццони Александр Антонович (1836—1902), живописец, автор многочисленных сентиментальных сцен из итальянской жизни—27, 30, 34.

Розвадовский граф Александр, студент Петербургск. университета физ.-мат. факульт. (1903)—139.

Розе Генрих (1795—1864), немецкий химик, основатель новой аналитической химии—163.

Рубашкин Владимир Платонович (р. 1842), жених А. И. Поповой; врач в Новочеркасске, с 1871 г. доктор медицины—22.

Рупрехт, венская фирма весов—123.

Сабанеев Евгений Александрович (1847—1918), академик архитектуры, в 1878 г. преподаватель истории искусств в Академии Художеств, с 1883 г. преподавал в Академии эстетику и археологию—6, 16.

Савинский Василий Евменьевич (р. 1859), академик живописи, профессор Академии Художеств.

Савицкий Константин Аполлонович (1844—1905), академик живописи, директор Пензенского художественного училища—24.

Салтыков Василий Дмитриевич, помещик Тверской губ.—92—96.

Салтыков Михаил Евграфович (1826—1889), известный писатель—4, 92.

Самойлов Василий Васильевич (1813—1887), знаменитый актер—18.

Самокиш Николай Семенович (р. 1860), живописец-баталист—17.

Сассо-Феррато (Джамбатиста Сальви) (1603—1685), итальянский живописец—138.

Сафонова Мария Ивановна, рожд. Попова (р. 1858)—сестра автора „Воспоминаний", жена Сем. Вас. Сафонова—45, 69.

Сведомский Александр Александрович (1848 — 1911), живописец—31, 32, 34.

Сведомский Павел Александрович (1849—1904), живописец—24, 27, 31—34.

Селезнев Иван Федорович (р. 1856), 1911—1914 гг. директор Киевского Худож. училища—13.

Семен, служитель в университете при лаборатории Менделеева—144, 145.

Семирадский Генрих Ипполитович (1843—1902), исторический живописец—33, 52.

Серов Валентин Александрович (1865—1911), знаменитый живописец-портретист—12, 15.

Симоновский Николай Петрович (ум. 1921), доктор по горловым и носовым болезням—49.

Синегуб Александра Владимировна, см. Лещина Мартыненко.

Синегуб Владимир Силович—25—27.

Синегуб Н. А., курсистка—50.

Смирнов Вениамин, шафер на свадьбе А. А. и Л. Д. Блок—139.

Смирнов Николай Александрович—73.

Смирнов Яков Иванович (р. 1869), известный археолог, академик—73.

Советов Александр Васильевич (1826—1901), известный агроном и общественный деятель, профессор Петербургского университета. С 1859 г., декан физ.-мат. фак. Петербургского унив.—3.

Соллогуб, графиня, см. Левшина В. Ф.

Соллогуб, графиня, Елена Федоровна (р. 1874), дочь гр. Ф. Л. Соллогуба—33.

Соллогуб, графиня, Наталья Михайловна, рожд. бар. Боде (1851—1916), жена гр. Ф. Л. Соллогуба—33.

Соллогуб, граф, Федор Львович (1848—1890), художник-декоратор—31, 33.

Соловьев Владимир Сергеевич (р. 1853—1900), знаменитый философ, поэт и публицист—49, 139.

Соловьев Сергей Михайлович (р. 1885), племянник В. С. Соловьева, поэт—139,

Соловьева Поликсена Сергеевна (1867—1924), поэтесса (псевд. Allegro), сестра Владимира Соловьева—49.

Сомов Константин Андреевич (р. 1869 г.), известный живописец—132

Сосунов А. И.—80.

Срезневский Вячеслав Измайлович (р. 1849), филолог и писатель по вопросам техники—82.

Стасов Владимир Васильевич (1824—1906), известный художественный критик—49.

Стасова Надежда Васильевна, сестра критика (1822—1895)—общественная деятельница—48, 49.

Стелла итальянская натурщица—12.

Суворов Александр Васильевич (1730—1800), знаменитый русский полководец—163.

Суриков Василий Иванович (1848—1916), величайший русский исторический живописец—24.

Тагор Рабиндранат, известный индусский философ и писатель—23.

Тарновская Варвара Павловна, рожд. Зурова (1844—1913), была замужем за профессором гинекологии Ипполитом Михайловичем Тарновским—127.

Тильден Вильям (Tilden W.-A.), профессор химии в Бирмингаме

(1893—95), в Лондонском университете (с 1894), автор книги о Дм. Ив. Менделееве „Mendeleeff memorial Lecture“ (1909)—118.

Тиссандье Гастон (1843—1899) франц. воздухоплаватель, совершавший полеты в 1868—1875 гг.—79.

Тищенко Вячеслав Евгеньевич (р. 1861), профессор химии. Автор биографического очерка о Дм. Ив. Менделееве, доложенного им на I Менделеевском с'езде и напечатанного в Трудах с'езда (С.-Петербург 1909)—71, 166.

Толстой, граф, Дмитрий Андреевич (1823—1889), известный государственный деятель в 1865—1880 гг. министр нар. просв., в 1882—1889 гг. министр внутренних дел—118 120.

Толстой, граф Иван Иванович (р. 1858—1916), вице-президент Академии Художеств, археолог и нумизмат—15, 50, 66.

Толстой Лев Николаевич (1828—1910)—49, 101.

Толстой Сергей Львович (р. 1863), старший сын Л. Н. Толстого, композитор—101.

Торпе Т. Е. (Thorpe T. E.), профессор химии в Лондонском университете (1893-94)—104, 109.

Третьяков Павел Михайлович (1832—1898), основатель Московской Третьяковской картинной галлереи—32.

Тропников Михайла, слуга Д. И. Менделеева—128, 150, 167.

Трофим, крестьянин деревни соседней с им. Бекетова „Шахматово“—132.

Троценко Мария Васильевна, натурщица—14.

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883)—4.

Тютчев Федор Иванович (1803—1873), знаменитый русский поэт—159.

Фаминцын Андрей Сергеевич (1835—1918), академик, профессор ботаники Петерб. ун-та—164.

Фарадей Михаил (1791—1867) величайший из физиков XIX века—101, 102, 163, 164.

Федоров Федор Александрович, см. Юрковский Ф. А.

Федосья — скотница в имении Менделеевых—135.

Философов Дмитрий Александрович (р. 1861—1907), госуд. деятель, госуд. контролер, министр торговли и промышленности—141.

Флешман, француженка, жившая у Менделеевых—124, 128.

Фома, крестьянин деревни соседней с им. Бекетова „Шахматово“—132.

Франкланд Эдуард (1825—1899), английский химик, работавший преимущественно в области органической химии—104, 107, 109.

Хернандец Даниил, испанский живописец XIX в., портретист и жанрист—33, 34.

Цветков Иван Евменьевич (ум. 1917), известный Московский собиратель рисунков русских художников. „Цветковская галлерея“ теперь входит в состав Третьяковской галлереи—156.

Цуккари, архитектор—35.

Цуккари Энрико, внук архитектора—35, 37.

Чебышев Пафнутий Львович (1821—1894), знаменитый русский математик, академик, профессор Петербургского ун-та в 1847—82 гг.—164.

Черкасов Павел Алексеевич (1834—1900), живописец, в 1869—1875 гг., инспектор, а в 1875—

1892 гг. надзиратель академических классов—7, 14.

Черткоѳ Владимир Григорьевич (р. 1854 г.), друг Л. Н. Толстого—49.

Черткова Анна Константиновна, рожд. Дитерихс (1860—1927), жена В. Г. Черткова—49.

Чехов Антон Павлович (1860—1904), известный писатель—132.

Чистяков Павел Петрович (1832—1921), живописец; профессор Акад. Худ. с 1872 г.—9—16, 24.

Чистякова, жена П. П. Чистякова—10.

Чугаев Лев Александрович (ум. 1924), профессор химии Петербургского университета, автор книги „Дмитрий Иванович Менделеев. Жизнь и деятельность". Ленинград. 1924 г.—75, 120—122.

Шамшин Петр Михайлович (1811—1895), исторический живописец, профессор Ак. Худ.—9, 15.

Шеврейль Мишель-Эжен (1786—1889), знаменитый французский химик—163.

Шекспир Вильям (1564—1616), 134, 136—138, 163.

Шишкин Иван Иванович (1831—1898), известный пейзажист, профессор Акад. Худож. с 1873 г.—4, 17, 24, 54, 163.

Шишкина Ольга Антоновна, см. Лагода-Шишкина О. А.

Шредер И. Ф., химик, сотрудник Д. И. Менделеева в семидесятых—восьмидесятых годах—71.

Штиглица рисовальная школа и музей прикладного искуества в Ленинграде, основанные банкиром Александром Людвиговичем Штиглицем—35, 72.

Щедрин, см. Салтыков М. Е.

Юрковская Мария Павловна (по сцене Лелева) (р .1845), водевильная актриса, жена Фед. Алдр. Юрковского—2.

Юрковская Мария Федоровна (по сцене Андреева), см. Андреева М. Ф.

Юрковский Федор Александрович (Федоров), режиссер Александринского театра—1, 2.

Язева Татьяна Ильинишна дочь И. Е. и В. А. Репиных, была замужем за Ник. Геннад. Язевым, с которым скоро разошлась—51—53.

Якоби Валерий Иванович (1834—1902), живописец—9, 16.

Яновский Михаил Владимирович (р. 1854), профессор, терапевт—143.

Ярошенко Мария Павловна, жена художника—47—49.

Ярошенко Николай Александрович (1846—1898), живописец-жанрист и портретист. Портрет Д. И. Менделеева написан в 1883 г.—24, 47—53, 54, 58, 62—67, 69, 155, 156 161, 164.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
Предисловие	V—VII
I. В семье Капустиных	1
II. Академия Художеств	6
III. У Д. И. Менделеева	19
IV. Петербург и Рим	23
V. За границей с Д. И. Менделеевым	39
VI. В Петербурге. Художники передвижники	44
VII. Боблово	69
VIII. Полет Д. И. Менделеева на аэростате	75
IX. Лондон. Кембридж. Оксфорд	100
X. Уход из университета	117
XI. Последние годы жизни Менделеева	121
XII. А. А. Блок	130
XIII. Смерть Д. И. Менделеева	141
XIV. Менделеев дома	147
Алфавитный указатель имен и примечания	168

Издания **М. и С. САБАШНИКОВЫХ**
Москва, 19, Никитский б., 8. Тел. 3-34-40.

ЗАПИСИ ПРОШЛОГО

ВОСПОМИНАНИЯ и ПИСЬМА

под редакцией С. Бахрушина и М. Цявловского

Задача издания дать изображение развития русской культуры и картину жизни и быта разных слоев русского народа в показаниях свидетелей нашего прошлого.

Каждая книга представляет законченное целое.

Ауэр, Леопольд.— Среди музыкантов. 2 р.

Бартенев, П.— Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей. (распродано). 2 р.

Брюсов, В.— Из моей жизни. 2 р.

Брюсов, В.— Дневники. 2 р. 80 к.

Григорович, Е.— Зарницы. Наброски из революционного движения 1905—1907 гг. 1 р. 40 к.

Гершензон, М.— Письма к брату. 2 р. 80 к.

Декабристы на поселении.— Из архива Якушкиных. 2 р.

Жемчужников, Л.— От кадетского корпуса к Академии художеств. 1828—1852 гг. 2 р.

Жемчужников, Л.— В крепостной деревне. 1852—1855 гг. 2 р. 80 к.

Кузминская Т.— Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. В 3 частях по 2 р.

Штаден Генрих.— О Москве Ивана Грозного. Записки немца-опричника (распродано). 2 р. 40 к.

Менделеева, А. И.— Менделеев в жизни.

Суслова, А. П.— Годы близости с Достоевским (печатается).

Алехин, В.— На весенней экскурсии в Кунцеве под Москвой. Пособие для любителей природы преподавателей и краеведов. 70 к.

Алехин, В.— Основные черты в распределении растительности Европейской России. 20 к.

Алехин, В.— Наши поемные луга. Что надо знать о природе наших лугов перед приступом к их амелиорации и хозяйственному использованию. 75 к.

Алехин, В.—Что такое растительное сообщество. Растительное сообщество, как выражение социальной жизни у растений. 70 к.

См. на обороте.

Издания **М. и С. САБАШНИКОВЫХ**
Москва, 19, Никитский б., 8. Тел. 3-34-40.

Вагнер, М.— Сто физиологических опытов над жизнью фасоли. Руководство к практическому изучению важнейших жизненных процессов в растительном организме. 70 к.

Вульф, Г.— Кристаллы. Их образование, вид и строение. Издание второе, переработанное. 2 р.

Зиновьев, П. М.— Душевные болезни в картинах и образцах. Под ред. проф. П. Б. Ганнушкина. 2 р. 50 к.

Иоффе, А.— Строение вещества. 45 к.

Любименко, В.— Индивидуум и общество в растительном мире. Общедоступный очерк. 30 к.

Маевский, П.— Осенняя флора. Иллюстрированный определитель растений. 75 к.

Маевский, П.— Весенняя флора. Иллюстрированный определитель растений. 70 к.

Мензбир, М.— Введение в изучение зоологии и сравнительной анатомии. 4 р.

Милановский, Е.— Происхождение горных пород. 1 р. 60 к.

Милановский, Е.— Геологический очерк Поволжья. Путеводитель по Среднему Поволжью. 1 р. 80 к.

Миэ, Г.— Жизнь и ее проявления. 2 р. 60 к.

Палладин, А.— Научные основы питания. Физиологические очерки. 2 р. 25 к.

Пангало, К.— Введение в сортоводство. 1 р. 50 к.

Петрова, А.— Психологическая классификация личностей. Элементарная методика психологич. исследования. 3 р. 50 к.

Прянишников, Д.— Белковые вещества. Общая химия белковых веществ. 2 р.

Страсбургер, Э. Учебник ботаники для высших учебных заведений. Часть II. Систематика. 3 р. 50 к.

Суворкин, П., и Белинг, Д.— Определитель рыб Европейской России. 1 р. 50 к.

Филипченко, Ю.— Эволюционная идея в биологии. 2 р. 20 к.

Френкель, Я.— Электрическая теория твердых тел. 3 р. 30 к.

Юдин, Т.— Евгеника. Учение об улучшении природных свойств человека (печатается).

Чупров, А.—Основные проблемы теории корреляции. О статистическом исследовании связи между явлениями. 3 р. 75 к.

Цена 2 р. 60 к.